

# ЕВГЕНИЯ ПЕРОВА

*Связанные  
любовью*

«ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ  
И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ  
ВАЖНЫ ДЛЯ МЕНЯ В  
ЖИЗНИ И В ЛИТЕРАТУРЕ.  
СОЕДИНЕНИЕ ЭТИХ КАЧЕСТВ  
С ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫМ  
ТАЛАНТОМ И ДЕЛАЕТ  
КНИГИ ЕВГЕНИИ ПЕРОВОЙ  
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ».

*Анна Берсенева*



Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой

Евгения Перова  
**Связанные любовью**

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Перова Е. Г.**

Связанные любовью / Е. Г. Перова — «Эксмо», 2020 — (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой)

ISBN 978-5-04-116028-9

Их любовь как солнечный удар, как озарение, как глоток воздуха. Встретив Катю, Юрий Тагильцев навсегда сохранит чувства к ней – той, которая разбудила в нем творческий жар. А у Кати благодаря ему появились силы пройти все уготованные испытания и воспитать двух прекрасных детей. У потомков княгини Несвицкой сложная и интересная судьба, с испытаниями и бурными романами, но у каждого из них есть чувство, которое накладывает невольный отпечаток на всю последующую жизнь.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-04-116028-9

© Перова Е. Г., 2020  
© Эксмо, 2020

## Содержание

Открывая окно, увидел я сирень...	6
Катя	6
Опазданец	12
Котя	19
Докторишка	27
Вилен	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# **Евгения Перова**

## **Связанные любовью**

© Перова Е., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

\* \* \*

## Открывая окно, увидал я сирень...

*Запевающий сон, зацветающий цвет,  
Исчезающий день, погасающий свет.  
Открывая окно, увидал я сирень.  
Это было весной – в улетающий день.*

*Александр Блок*

### Катя

*(Рассказывает Юрий Тагильцев)*

Детство я провел в Ильичевке. Так назывался подмосковный барачный городок от Электромеханического завода имени Владимира Ильича, раньше носившего имя Михельсона: именно там, на заводском дворе, Фанни Каплан когда-то стреляла в вождя мирового пролетариата. На заводе работал отец, а мама была учительницей начальных классов. Отца я помню плохо: он ушел на фронт, когда мне исполнилось восемь лет. С войны отец не вернулся, и мама одна растила нас с младшей сестрой.

Жили бедно и голодно, но воспоминания о детстве светлые: рядом располагалось заброшенное имение с большим прудом, где мы летом купались, а зимой катались на коньках, прикручивая их к валенкам. Во время войны, конечно, было не до коньков и купаний, но зато потом наверстали. Помню, как мы лихо прыгали с тарзанки, лазили в чужие сады за яблоками и смотрели трофейное кино на открытой летней веранде, проникая туда без билета. Правда, за мной везде хвостиком таскалась сестренка, но я понимал, что маме некогда за ней присматривать.

Учился я хорошо, особенно по литературе и русскому: дома было много книг, а я рано научился читать. Сочинения я писал лучше всех, и учительница уверяла, что у меня несомненный литературный талант. Еще я пописывал заметки для стенгазеты и регулярно вел дневник, в который заносил не только жизненные впечатления и цитаты из прочитанных книг, но и собственные выдуманные истории – вполне в духе Стивенсона или Майн Рида, пользовавшиеся большим успехом у одноклассников. Я не придавал этим историям особенного значения: мне казалось, у всех в головах происходит подобное мельтешение персонажей и сюжетов.

Катя разбудила во мне творческий жар. Сначала я просто хотел освободиться от внутренней боли: перенесенная на бумагу, она отделялась от меня и становилась фактом литературы, а не жизни. Я рассыпал по страницам зерна слов, но прорастали они у меня в душе, и ростки имели шипы. Это был процесс бесконечный, сладостный и мучительный: снова и снова переживал я шесть дней любви, снова и снова горел на костре неутоленной страсти, тоски и обиды.

Я написал несколько рассказов с разными финалами, в которых Катя представляла в образах то мятущейся жертвы, то блудницы, то трепетной возлюбленной или верной жены. Чего только не происходило в этих фантазиях: она убегала от мужа, и мы жили с ней долго и счастливо; муж настигал нас и убивал – либо обоих, либо меня одного; я приходил к заветной двери, а оттуда выносили гроб с ее телом...

Постепенно образ Кати размылся, истаял, превратился в смутное видение, но чувство мое к Кате не умерло и постоянно ощущалось, словно больной зуб, ноющий время от времени. Кто из писателей сказал, что любовь – это зубная боль в сердце? Флобер? Не помню.

Я окончил МВТУ имени Баумана, а потом, проработав пару лет инженером на ЗИЛе, устроился внештатным корреспондентом в «Вечерку» – редакции понравился мой очерк в заводской многотиражке. Поступил в Литературный институт, писал рассказы, постепенно набралось материала на небольшую книжку, потом на вторую, потом роман написал, приняли в Союз писателей, так оно и пошло. Дорос до маститого писателя: книжек вышло без счета, а по моим сценариям уже снято восемь фильмов. Но иной раз думаю, что не повстречай я Катю, так и работал бы до сих пор на ЗИЛе и ни о каких сценариях не помышлял.

Встреча с Катей произошла в середине мая 1952 года. Я учился на втором курсе, жил в общежитии, получал стипендию, которой еле хватало на неделю, так что подрабатывал как мог, даже вагоны разгружал. Потом однокурсник Лёничик научил меня, как подкормиться на халяву: он был веселый парень, гитарист и хохмач, так что его часто приглашали на дни рождения и прочие праздники, словно массовика-затейника, а он прихватывал меня в качестве моральной поддержки и просто по дружбе. Лёничик был парень добрый – вернее, добродушный и незлобивый. Активная доброта требует приложения некоторых усилий, а он был именно что беззлобен. Пока Лёничик развлекал народ, я осыпал комплиментами девушек, иной раз урывая поцелуй-другой, прилежно танцевал и помогал хозяйке дома убирать со стола, втихомолку пряча в специально взятый с собой портфель что-нибудь из непортящегося съестного или спиртного.

На одной из подобных вечеринок я и познакомился с Катей. Компания собралась большая, но мы с Лёничиком мало кого знали, кроме хозяйки, имевшей прозвище Наташа-кудрявая, дабы отличить ее от прочих знакомых Наташ. У хозяйки не хватало стульев, и она послала меня к соседке, обещавшей поспособствовать. Я позвонил, соседка поманила меня за собой, и я прошел в большую комнату, где ярко горела огромная семирожковая люстра. Ее золоченая арматура и срединное круглое матовое стекло с гравировкой поразили мое воображение.

– Вот эти возьмите! – сказала соседка, показывая мне на четыре венских стула с гнутыми спинками. – Донесете? А я табуретку прихвачу.

– Да не утруждайтесь, – галантно возразил я. – Отнесу стулья, приду за табуреткой.

– Я тоже к Наташе иду, ничего. Табуретка легкая. Да, меня Катей зовут.

– А я Юрий Тагильцев.

– Екатерина Кратова, очень приятно. Ну что, идем?

Я наконец оторвался от люстры, на которую все косился, взглянул пристально на Катю и ахнул: как я сразу не сообразил?! Именно эту девушку я видел полчаса назад, проходя по двору! Тогда она стояла у окна, прижав руку к груди, и я невольно замер, любуясь: девушка была очень хороша, в чем я сейчас имел возможность убедиться. Чуть выше меня ростом, темноволосяя и яркоглазая, очень складная и фигуристая. На ней было легкое темно-вишневое платье с маленьким кружевным воротничком, слегка тесноватое в груди, и я невольно зацепился взглядом за длинный – до талии! – ряд близко посаженных мелких пуговиц, обтянутых той же тканью. Потом-то я разглядел и маленькие ушки с простыми сережками, и выразительные темные брови, и короткие завитки выбившихся из прически волос – она на старомодный манер уложила косу вокруг головы. Ее темно-карие глаза с очень яркими белками и тонкими длинными ресницами, выразительные и говорящие, в глубине своей скрывали не то постоянную тревогу, не то печаль, что странно контрастировало с выражением ее нежного рта, замершего в улыбке.

Мы некоторое время смотрели друг на друга, ничего не говоря. У меня было странное ощущение: нас с ней словно затягивало в водоворот, в невидимую воронку, и сопротивляться было бесполезно. Не знаю, сколько мы так простояли бы, если бы не зазвонил телефон. Катя сняла трубку, махнув мне рукой на стулья, и я послушно подхватил сразу четыре. Направляясь к выходу, я слышал голос Кати, отвечающей на вопрос звонившего:

– К Наташе. Ты ее знаешь – соседняя квартира. День рождения, да. Я ненадолго.

Мы с Катей сидели на противоположных концах длинного овального стола и обменялись буквально парой фраз, но мне все время казалось, что в комнате нас только двое живых, а остальные – фантомы, бледные призраки, ненужные и докучные. Катя ушла рано. В дверях она оглянулась и посмотрела мне прямо в глаза. Никогда раньше и никогда потом не бывало со мной ничего подобного: Катя своим взглядом словно передала мне послание, и я это послание понял – кивнул, а Катя чуть улыбнулась. Все было решено меж нами без единого сказанного слова.

Я оказался в каком-то замкнутом пространстве, за границами которого плохо различимые сутились и смеялись люди. Кто-то настойчиво предлагал мне холодец с хреном и подливал водку в граненую рюмку на высокой ножке, а Лёничик, лихо опрокинув стакан, уже вовсю наяривал свое коронное: «На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась компания блатная...» Я же не видел ничего, кроме Катиных зовущих глаз, завитков темных волос на белой шее и лифа ее вишневого платья с мелкими пуговками, которые я скоро буду расстегивать – одну за другой. В этот вечер я пересидел всех, даже Лёничика. Принеся на кухню последние тарелки, спросил у Наташи, которая мыла посуду:

– Еще надо что сделать?

– Нет, спасибо Юрочка! Ты и так хорошо помог.

– Это я вместо подарка. Надо же было на день рождения с пустыми руками прийти! Прямо стыдно.

– Ладно, свои люди – сочтемся.

– Да, а стулья?

– Катины? Завтра отдам, а то поздно.

Я целомудренно чмокнул Наташу в щечку и вышел на площадку. Постоял, послушал, потом осторожно нажал кнопку Катиного звонка, коротко звякнувшего. Дверь распахнулась почти мгновенно, в проеме возникла Катя. Она приложила палец к губам, схватила меня за рукав и втянула в квартиру.

– Иди на свет, – прошептала она. – Только не шуми.

Мы шли на цыпочках, но из одной комнаты все-таки раздался слабый женский голос:

– Катя, пришел кто-то?

– Бабушка, это Наташа табуретку вернула! Спи себе.

Наконец мы оказались там, где горел свет, – это была, судя по всему, уже третья комната – спальня, о чем свидетельствовала кровать с резными спинками. Катя заперла дверь и прошептала:

– Раздевайся.

Я развязал галстук и снял пиджак, на большее меня не хватило. Ноги не держали, и я сел на край кровати. Все больше волнуясь, смотрел я, как Катя расстегивает крючочки на боку (пуговицы оказались декоративными) и стаскивает через голову свое вишневое платье. Оставшись в розовой комбинации, она подняла ногу на стул и осторожно скатала тонкий чулок, потом так же – второй. Сняла пояс с резинками. Заведя руки за спину, расстегнула лифчик и вытянула его из-под комбинации. Все это она проделывала перед большим зеркалом-трельяжем, так что я видел Катю со всех сторон. Наконец она вынула из волос шпильки и встряхнула головой – тяжелая коса упала ей на спину, кончиком достав почти до талии. Катя обернулась ко мне:

– Ну что же ты?

Я встал. Катя подошла и принялась расстегивать ремень, а потом и брюки. Тут я опомнился и быстренько избавился от одежды.

– Так-то лучше, – сказала Катя и обняла меня за шею. Мы поцеловались. Дальнейшее я помню смутно. Осталось только ощущение неимоверного чувственного восторга и неотвратимого падения в бездну. Необходимость соблюдать тишину настолько обострила наши чув-



ства, что каждое прикосновение обжигало, а стук сердец оглушал. Прошла вечность, пока мы смогли заговорить.

– Тебе придется уйти в четыре, – прошептала Катя. – Потом бабушка может проснуться.

– А сейчас сколько?

– Два с небольшим.

– Хорошо, значит, еще раз успеем.

Катя тихонько рассмеялась и тут же зажала себе рот рукой.

– Неужто так понравилось? – спросила она.

– Ты необыкновенная, ты...

Я не находил слов, поэтому снова принялся ее целовать.

– Только никому не рассказывай, – велела Катя, прижимаясь ко мне. – Никому, понял?

– Конечно, нет! Я ж не трепло какое!

– Особенно Наташе.

– Да я ее почти не знаю. Просто пришел с Лёнчиком, и все.

– Это хорошо. А то ведь мог и не прийти. И я бы тебя не узнала...

Плечи ее задрожали, и я понял, что Катя плачет.

– Ну что, что ты, – забормотал я. – Что ты, Катенька? Милая моя, прекрасная!

В четыре утра я покинул ее квартиру. Уже рассветало, и лучи солнца, выглядывающего из-за домов, наискосок пронзали легкую дымку. Я прошел пешком от Полянки до Лефортова и сразу завалился спать. В одиннадцать вечера я опять стоял под Катиной дверью, как мы и договорились. Крался, словно шпион, оглядываясь и прислушиваясь, страшась на кого-нибудь напороться. И следующую ночь мы провели вместе, а потом...

Потом Катя сказала, что все кончено. Ее муж должен был послезавтра вернуться из командировки. О том, что она замужем, я и сам догадался в первый же день.

– Еще одну ночь! – взмолился я, даже не представляя, как вообще смогу без нее жить.

– Нельзя, – ответила Катя. – Во-первых, он может вернуться раньше, такое уже бывало. Во-вторых... Мне надо прийти в себя, понимаешь? Вернуться к себе прежней. Мне нелегко живется, а ты... Ты был моим праздником! Моей радостью. Я буду помнить тебя всю жизнь.

– Послушай, давай ты уйдешь со мной, а?

– Это невозможно.

– Но почему?! Ты же не любишь его! Что такого, разведетесь!

– С ним не разведешься, Юрочка. Вилен страшный человек. А отец его еще страшнее. Они меня не выпустят, понимаешь? Не отдадут.

– А если узнают, что ты...

– Даже думать боюсь! И тебе тоже не поздоровится. Знаешь, где они работают? На Лубянке.

Про Лубянку я хорошо понимал: в моей семье, к счастью, никто не пострадал, но у близкого друга арестовали отца, и он отрекался от него на комсомольском собрании.

– Зачем же ты замуж пошла? – спросил я, и Катя пожала плечами:

– Так получилось. Долго рассказывать.

Мы попрощались, и я уныло поплелся в Лефортово. Долго я выкарабкивался из этого романа, если случившееся вообще можно так назвать. Любовь Кати словно отравила меня, в каждой женщине я искал ее черты и не находил. А через шесть лет мы встретились снова, совершенно случайно. И опять, как нарочно, в гостях, куда меня привела моя тогдашняя девушка, племянница хозяйки. На сей раз Катя была с мужем: высоченный белокурый красавец с мрачным лицом неотвязно следил за женой. Поговорить нам не удалось – я боялся приближаться, а Катя, увидев меня, на секунду дрогнула лицом, но тут же опомнилась и весь вечер старательно меня игнорировала.

Она немного пополнела и чрезвычайно похорошела. На ней было розовое платье в мелкий черный горошек, а волосы убраны в низкий узел. На обратной дороге моя девушка только про Катю и говорила – так я узнал, что платье вовсе даже не розового, а кораллового цвета и сделано по модели, в которой щеголяла в «Карнавальная ночи» Людмила Гурченко: «Ну, помнишь, белое такое? Тоже в горошек, только горошины крупнее. И юбка там пышнее. И рукава немного другие, и воротничок белый, а тут такие черные планочки». Я, честно говоря, так и не понял, что же общего у этих двух платьев. Правда, я почти не слушал, занятый собственными мыслями.

В разгар вечеринки, когда гости были заняты танцами, мы с Катей словно нечаянно столкнулись в коридоре. Она улыбнулась и на секунду с силой сжала мою руку – быстро и незаметно для мужа, который смотрел на нас из комнаты. Оказалось, она успела сунуть мне записку. Я закрылся в туалете и дрожащими руками развернул многократно сложенный листок бумаги – и когда только успела написать?

«Тарасовка, Белорусский вокзал, первый вагон, направо. Улица Старых Большевиков, дом 12, зеленый забор, на участке сосна-лира. Следующая неделя, вторник, 11 утра, за баней. Большой куст жасмина. Спрячься там, я приду. Будь осторожен».

Конечно, я приехал гораздо раньше одиннадцати. Долго бродил по дачному поселку, приглядываясь и осматриваясь. Сосну в форме лиры я нашел быстро, но не сразу сообразил, где эта самая баня, потому что перепутал жасмин с шиповником, а шиповник там рос везде. Наконец нашел. Без пяти одиннадцать я сидел в этом самом кусте у забора, одна штaketина которого была сломана посередине, хотя сохраняла видимость цельности. В эту дыру я и пролез, когда пришла Катя.

Банька была маленькая, а предбанник и вовсе крошечный. Катя принесла с собой ведро теплой воды, сказав своим, что идет мыть голову. Волосы ее теперь были короче, чем я помнил. Мы любили друг друга прямо на полу, подстелив большое полотенце. Словно и не было этих шести лет разлуки, словно только вчера мы расстались! Никогда и ни с кем не испытывал я столь полного слияния, столь насыщенной близости. В баньке было почти темно и душно, пахло сырым деревом, мылом и березовыми вениками, но больше всего – Катей. У каждой женщины свой запах. Одна из моих подруг пахла опятами, другая – привядшим липовым цветом, а у Кати был аромат яблок и корицы.

Потом я немного побродил по дачному поселку, разыскивая дальний пруд, где мы должны были встретиться завтра, когда Катя пойдет за молоком в соседнюю деревню. На обратной дороге я остановился около какой-то дачи. Там, видно, заводили патефон – слышно было характерное потрескивание. Я знал этот романс Вадима Козина, его часто пел Лёнчик – «Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане...» Сейчас была только середина июня, до осени далеко, но так ударили по сердцу эти слова: «Где наша первая встреча? Яркая, острая, тайная, в тот летний памятный вечер, милая, словно случайная». А когда Козин запел: «Не уходи, тебя я умоляю, слова любви стократ я повторяю...», я чуть не заплакал.

Только на третий день Катя решила позвать меня к себе – шофер, который выполнял при ней функции помощника и соглядатая, уехал в Москву, чтобы утром привезти на дачу Катиного мужа, а няня отпросилась с ним. Поздно вечером я протиснулся все в ту же дыру за баней, пробрался к дому и залез через окно в Катину спальню. Тогда-то Катя и дала мне две фотографии – свою и маленького мальчика в матроске.

– Это твой сын! Гошенька, Георгий, – сказала она, и я почувствовал, как мое сердце оборвалось и покатилося в темный угол, прямо в мышиную нору.

– Ты уверена, что мой?

– Да. Вилен не может иметь детей. Хочешь увидеть Гошу?

Конечно, я хотел! Мы на цыпочках прошли в соседнюю детскую, и я увидел сына. Не могу передать, что я чувствовал, глядя на спящего мальчика.

– Поцелуй его, только осторожно, – сказала Катя. Я нагнулся и поцеловал румяную со сна щечку, вдохнув запах теплого детского тела. Яблочный запах.

Ушел я еще до рассвета. Когда добрался до станции, навстречу мне проехала через переезд машина – рядом с водителем сидел Вилен Кратов. В мою сторону он и не глянул.

Больше мы с Катей не виделись никогда.

## Опазданец

*(Рассказывает Георгий Кратов)*

Прошел год после маминой смерти, и я наконец взялся разбирать ее бумаги. Никак не мог решиться. Хотел даже Нину попросить, но потом передумал. Разбираю и мысленно повторяю: «Мама, светлая королева, где же ты?» И раньше, когда читал «Белую гвардию» Булгакова, от этих слов сердце шемило, а сейчас и подавно.

Мама, светлая королева...

Я чувствую этот свет и сейчас, когда мамы нет. Свет и тепло. И люблю ее так же сильно, как прежде, хотя смотрю на ее жизнь совсем другими глазами. Прочитав записки Тагильцева, я испытал шок, гнев и обиду. Не сразу пришло ко мне понимание и прощение. Слишком поздно узнал я правду, чтобы так легко с нею смириться.

Но вернемся к началу. Родился я за месяц до смерти Сталина, так что сознательная моя юность пришлась на период брежневского застоя. Но помню, как во втором классе приставал к учительнице с вопросом, почему в учебнике упоминается Сталинград, когда его уже переименовали в Волгоград? А в четвертом классе ошарашил ту же учительницу разъяснением происхождения терминов «большевики» и «меньшевики»: по результатам голосования на съезде члены победившей группировки стали называть себя «большевиками». Учительница, как мне показалось, этого не знала и не очень мне поверила. Да, порядочным занудой я был и в детстве.

Занудой, плаксой и нюней, как уверяет Нина. Хотя что она может помнить? Нина родилась, когда мне уже исполнилось шесть, а ведет себя так, словно это она – старшая сестра! Отношение мое к факту рождения Нины было двойственное: с одной стороны, я не очень хотел делить мамину любовь с кем-то еще, а с другой – мне нравилось, что наша с мамой «партия» увеличится и таким образом укрепитя. Пока что нас было двое на двое: мы с мамой и дед Пава с бабкой Паней. Отец ни к какой партии не примыкал:

Двух станов не боец, но только гость случайный,  
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,  
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,  
И к клятве ни один не мог меня привлечь...<sup>1</sup>

Случайным гостем он, конечно, не был, но всеми силами старался как-то примирить оба стана, не конфликтуя ни с одним, что удавалось ему плохо. Деда с бабкой я боялся. Бабку опасался на чисто бытовом уровне: она могла наорать, шлепнуть, уязвить метким и обидным словом. Повзрослев, я понял, что она черпает в скандалах жизненную энергию: доведя кого-нибудь до белого каления, бабка расцветала и сияла. К тому же она была натуральной кликушей: кричала по ночам не своим голосом. Это было страшно. И разбудить ее удавалось не сразу, она отбивалась и продолжала вопить. Дед поступал просто – брал ее одной рукой за горло, другой зажимал ноздри, перекрывая «дыхалку», как он выражался. Тогда она просыпалась, долго кашляла и причитала, что дед ее чуть не задушил. «А ты не ори!» – рывкал дед, добавляя пару матерных эпитетов. К счастью, такие «веселенькие» ночи выпадали не слишком часто.

Дед Пава пугал меня метафизически, если можно так выразиться, как пугает извержение вулкана или буря. Прежде всего он был очень большим человеком: наш отец, сам не маленький, выглядел на его фоне подростком. Смотрел дед грозно, говорил гулким басом, а когда выходил из себя, то громыхал так, что на улице бывало слышно. У меня в таких случаях случалась

---

<sup>1</sup> Стихотворение А. К. Толстого.

истерика, от чего дед раздражался еще пуще. Обращался он со мной снисходительно-ласково, но чем больше я подрастал, тем меньше становилось ласковости и больше раздражительности.

По словам мамы, дед начал особенно сильно пить после XX съезда – его как раз тогда отправили на пенсию. А когда они с бабкой переехали в отдельную квартиру, дед разошелся вовсю, так что бабе Пανε приходилось несладко. Зато наш «стан» вздохнул посвободней: мы с мамой и Ниной переселились в большую комнату, отец занял среднюю, а в маленькой иногда ночевала няня Зоя. Она жила неподалеку, но в крошечной двухкомнатной квартире втроем им было тесновато. Я помню, как ревновал няню Зою к ее детям, а потом увидел двадцатилетнюю дочь, которая показалась мне совсем взрослой тетенькой, и долго удивлялся: в моем представлении «дети» – это малыши вроде нас с Ниной.

Зоя отличалась крайней замкнутостью и молчаливостью. Никаких сказок она мне не рассказывала и колыбельных не пела – это все было по маминой части. Зоя в основном убиралась и стирала, так что скорее выполняла обязанности домработницы. Худощавая и смуглая, Зоя была очень красива, как я потом осознал. У нее сохранилась одна довоенная карточка, на которой она, еще совсем девочка, поражает утонченностью облика, что удивительно для дочери рабочего и колхозницы, как она себя называла. В детстве я думал, что стоящий на ВДНХ монумент «Рабочий и колхозница» и есть памятник ее родителям. Добрая и верная Зоя, несомненно, принадлежала к «нашей» партии, хотя и тушевалась перед дедом и бабкой. Отец ее не замечал.

То, что дед и отец работают «в органах», я знал, но подробностями долго не интересовался. Про деда, честно говоря, мне и не хотелось ничего знать. Но к отцу я приставал с вопросами, от которых он уклонялся как мог. Наконец мама сказала, что отец не имеет права ничего рассказывать, потому что его работа – секретная. Каких только подвигов я ему не приписывал! Пожалуй, именно тогда и проявилась моя тяга к сочинительству. И конечно, я читал все, что мог найти, о чекистах, деятельность которых казалась мне чрезвычайно почетной и романтической. Особенно поспособствовал этому Юрий Герман с его «Рассказами о Дзержинском», в которых Железный Феликс предстал перед читателем в виде героя и борца за правое дело. Я так впечатлился, что даже очередное сочинение на тему «Делать жизнь с кого» написал о Дзержинском. Мама прочитала и, тяжело вздохнув, сказала:

- На твоём месте я взяла бы другую тему.
- Почему? – удивился я. – Плохо написал?
- Написал ты хорошо, но о том, чего не знаешь.
- Я читал книжку Юрия Германа!

– Это одна сторона. Есть и другая. Поступай как знаешь, но попомни мои слова: когда-нибудь тебе будет стыдно за это сочинение. И потом, что значит: «делать жизнь с кого»? Надо строить собственную жизнь, ни на кого не оглядываясь, слушая себя. При чем тут Дзержинский? – А потом добавила, чуть усмехнувшись: – Впрочем, папа бы одобрил.

Это заставило меня задуматься. Окончив школу, я поступил на истфак МГУ, надеясь, что смогу углубиться в интересующий меня период истории – двадцатые-тридцатые годы. Особенно углубиться не удалось: архивы были закрыты, источники недоступны. Только с началом периода перестройки и гласности стали явными многие тайны нашей истории, да и то далеко не все, породив остроумное замечание Михаила Задорнова: «Россия – страна с непредсказуемым прошлым». Впрочем, он всего лишь перефразировал Герцена, сказавшего: «Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое». В результате я стал заниматься девятнадцатым веком, неожиданно для себя ощутив странное родство с его «жителями», как написала когда-то Нина в школьном сочинении: «Александр Грибоедов в своей пьесе вывел типичных жителей девятнадцатого века».

Вот уж в ком никогда не было ни капли литературного таланта, так это в Нине! Зато она всегда отличалась целеустремленностью и упрямством: еще в детстве заявила, что станет

доктором, и таки выучилась на врача-физиотерапевта. Естественно, ее первыми пациентами были мы с няней Зоей. Вернее, подопытными кроликами! Но надо признать, что массаж она делает великолепно.

Иногда я завидую ее цельности, смелости и той легкости, с которой она не идет, а порхает по жизни – словно бабочка, чей прихотливый полет неизбежно приводит к цветку, полному нектара. В отличие от меня Нина не боится ошибаться, со смехом переживает неудачи и не заикливается на обидах. В личной жизни она, на мой взгляд, вела себя довольно легкомысленно, но мама только посмеивалась и спускала ей все.

Нина, конечно, очень похожа на маму, которая всегда говорила, что Нина ее второе издание, отредактированное и улучшенное. На мой взгляд, не столько улучшенное, сколько облегченное: мама – академический том с золотым обрезом в кожаном переплете, а Нина – карманная книжка в мягкой, но яркой обложке. Благодаря веселому нраву и живости характера Нина порой кажется легкомысленной, и я не раз призывал ее быть серьезнее, а то никто ее не станет уважать – ни коллеги, ни пациенты. «А я беру обаянием!» – отвечала Нина, смеясь, а я ворчал: «И какой из тебя доктор? Так, докторишка», на что тут же получал в ответ: «От архивной крысы слышу!»

Мама уверяла, что в юности была копией Нины. Мне трудно в это поверить, потому что она всегда производила совсем другое впечатление: спокойная, молчаливая, сдержанная, очень сильная личность. И совершенно бесстрашная! Помню, как она справилась с каким-то хулиганьем, приставшим к нам в парке: я ревел, Нина кричала и махала кулачками, а мама только пристально на них взглянула и сказала: «Пошли вон». Они мгновенно ретировались.

Моему погружению в девятнадцатый век особенно поспособствовал разговор, который я нечаянно услышал на поминках бабы Пани: мама стояла в коридоре с тетей Клавой, отцовской сестрой, а я проходил мимо с миской блинов. Услышал я немного, но испугался. Это был 1978 год, никакой гласности еще и в помине не было, а самиздата у нас в доме не водилось, поэтому я мало что знал о масштабах сталинских репрессий, хотя, конечно, мы «проходили» XX съезд и доклад Хрущева, но опять же без подробностей. Про своих родителей мама ничего не рассказывала, я знал только, что они умерли в 1937 году, но эта дата почему-то не вызывала у меня никаких мрачных ассоциаций. Да, следует признать, что я был слишком наивен и не любопытен для историка.

И вот теперь оказалось, что мой отец и дед как-то причастны к смерти маминых родителей. И те пресловутые «органы», в которых они работали, имели прямое отношение к арестам, ссылкам и расстрелам ни в чем не повинных людей. Ладно, деда давно нет в живых. Но отец! Он работает все там же! Чем он вообще занимается?! Самое удивительное, что я ни у кого ничего не спросил – ни у мамы, ни у отца, ни у тети Клавы. Боялся услышать страшную правду. Убеждал себя, что мне послышалось, что я все не так понял. Постарался забыть. Слишком жутко было осознавать себя частью этой зловещей машины, отростком этого ядовитого дерева.

Историей девятнадцатого века я защищался от века нынешнего, и скоро мне стало казаться, что я тут по ошибке, что мое место там, в салоне какой-нибудь Анны Павловны Шерер, где я рассуждаю о коронации Наполеона и Трафальгарской битве, поглядывая в лорнет на кокетливо выставленную из-под подола бального платья атласную розовую туфельку графини Апраксиной. Читал я исключительно мемуарную литературу, а потом и сам стал писать исторический роман. Писал почти год, но тут вышло «Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы, и у нас оказалось столько совпадений, что я тут же забросил свою писанину, тем более что у Окуджавы вышло гораздо лучше, чем у меня.

Всю жизнь со мной такое происходит! Придумываю сюжет, болею им, долго пишу, переделываю, а потом выходит роман, в котором развита моя идея, так что мне уже нет смысла вылезать со своим произведением, потому что все решат, что я плагиатор или подражатель, хотя я все выдумал самостоятельно. Я сочинял истории о так называемых попаданцах, когда

еще и термина такого не существовало. И никому не было интересно. А сейчас все только об этом и пишут. Александр Бушков, Сергей Лукьяненко, Макс Фрай – имя им легион, а меня никто знать не знает, да и откуда? Печатался я только в журналах «Наука и жизнь», «Искатель», «Знание – сила», «Аврора». Дочь подбивает меня издать книжечку, сейчас это легко и просто, были бы деньги. Но кому это нужно?

Один критик написал, что «попаданческая» литература эксплуатирует «комплекс неудачника». Подобный человек убежден, что только внешние обстоятельства не дают ему развернуться как следует, а попав в другое время, он покажет, на что способен. Не могу не признать, что в этом есть, как говорится, сермяжная правда. Кто я, если не неудачник? Классический «опозданец»! На писательской стезе не добился известности, как историк тоже не снискал лавров: кандидатскую диссертацию так и не защитил, работаю в архиве, получаю гроши...

Но вернемся назад, в то время, когда широко открылись все шлюзы и на нас хлынул поток информации. Сначала в доме появились запрещенные раньше книги и толстые журналы, которых мы до этого никогда не выписывали: «Новый мир», «Иностранная литература», «Современник». Помню, как зачитывались мы «Детьми Арбата» Анатолия Рыбакова и «Белыми одеждами» Юрия Дудинцева, как плакала мама над «Архипелагом ГУЛАГом» Солженицына и «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург.

Мама так бурно реагировала на происходящие события, что даже заплодировала, смотря трансляцию XXVIII съезда КПСС – в тот момент, когда Борис Ельцин положил на стол Президиума свой партбилет. Отец встал и вышел. Тогда он еще ходил. А год спустя, увидев в новостях, как с постамента на Лубянке снимают Железного Феликса, мама заплакала навзрыд. Она вскочила и убежала на кухню, а когда я пришел к ней, мама стояла перед окном и кланялась, размахисто крестясь и повторяя: «Господи, воля твоя! Спасибо, Господи!» Отец в это время приходил в себя после операции, оказавшейся бесполезной, так что впереди его ожидало два года мучений, о чем мы тогда, конечно, не подозревали.

Похоронив отца, мама слегла. Она пролежала неделю, отмахиваясь от наших с Ниной приставаний и просьб показаться врачу: «Я просто устала». И правда, отдохнув, она поднялась и затеяла ремонт квартиры. Время было выбрано не слишком удачное: отец умер осенью, сразу после путча 1993 года, доходы наши были ниже плинтуса: у мамы мизерная пенсия (она не наработала необходимого стажа), у меня грошовая зарплата. Да и в остальном мы были не на высоте.

Я разрывался между двумя женщинами, не в силах определиться: синица в руках или журавль в небе? С «синицей» Лилей мы учились вместе в университете. Даже не знаю, как получилось, что мы стали близки и на свет появился Максим. Лиля мне, конечно, нравилась, но не до такой степени, чтобы связывать с ней свою жизнь. Да и мама Лилю не одобрила, сказав, что я с ней намучаюсь. Действительно, Лиля склонна к бесконечному выяснению отношений и постоянным истерикам. Мы то сходились, то расходились, а потом я встретил Ольгу и влюбился без памяти. Дело было безнадежное: она замужем за профессором, почти академиком, двое детей. Что я мог ей предложить? Но обоюдное влечение было очень сильным. Не в силах развязать узел, в который скрутилась моя жизнь, я кинулся в этот ремонт, как в пропасть: с яростью крушил всякое старье, обдирал обои и циклевал паркетные полы.

Нина в это время находилась на грани развода с мужем. Честно говоря, Аркадий никогда мне не нравился. При каждой встрече мы с ним непременно ругались, потому что я не мог слушать тот бред, что он нес, начитавшись опусов Анатолия Фоменко<sup>2</sup>. Он тоже был технарем – кажется, физиком. Или математиком, как Фоменко? Не помню. К счастью, они все-таки развелись и мне больше не пришлось убеждать этого непроходимого тупицу в полной абсурдно-

<sup>2</sup> Анатолий Тимофеевич Фоменко – советский и российский математик, автор «Новой хронологии», которую специалисты причисляют к псевдонауке.

сти умозаклучений его кумира. Развелись они как раз после ремонта, который мы все-таки сделали, управившись собственными силами, а необходимые средства добыли, удачно продав кое-какие вещи, оставшиеся от «прежней жизни». Аркадий сбежал в самой середине процесса, но потолки мы с его помощью успели побелить.

Нина с дочкой вернулись домой и заняли самую большую комнату, мама выбрала себе маленькую, а я поселился в средней. Сколько себя помню, мы все время совершаем какие-то переезды внутри квартиры, уж очень неудобно она устроена. Но племянница, которой в то время было три годика, никаких границ, конечно, не соблюдала: такое ощущение, что она находилась одновременно везде. Я люблю свою племянницу, но согласитесь, невозможно работать, когда своенравный ребенок лезет к тебе на колени или утаскивает листы рукописи, чтобы на них рисовать! И почему дети так громко кричат и топают, бегая по квартире? От горшка два вершка, а шума, как от слона.

После ремонта мама довольно быстро нашла себе занятие: она всегда прекрасно шила, сама одевалась очень элегантно и Нину наряжала как куколку. Мама стала шить на заказ, и довольно долгое время это было нашим основным источником дохода. Потом-то и Нина наконец обрела свое счастье: в третий раз вышла замуж и устроилась на работу в частную клинику, которая теперь принадлежит им с мужем. У меня с ее теперешним мужем сложные отношения: не терплю снисходительного к себе отношения, как бы Нина ни уверяла, что мне это только мерещится. Больше всех мне, честно говоря, нравился ее второй муж, но у него не сложились отношения с падчерицей, и Нина бестрепетно – и очень быстро! – выставила его вон.

Я всегда поражался ее отношениям с мужчинами, удивляясь, как легко даются Нине встречи-расставания: раз, два, горе – не беда, канареечка весело поет! Я сам вечно влипаю в какие-то сложности, как муха в паутину, и испытываю бесконечные страдания: то из-за того, что мне не отвечают взаимностью, то из-за невозможности развязаться. Ольгу я любил очень сильно, но встречаться нам с ней было нигде: не мог же я привести любовницу в дом матери. Так оно постепенно и сошло на нет.

Я честно пытался наладить отношения с Лилей, и они с Максимом даже некоторое время пожили у нас на Полянке, но все свелось к череде скандалов, и в конце концов мы расстались, хотя видеться приходится: у нас же сын. Но Максим не признает меня, хотя деньги берет исправно, особенно сейчас, когда и сам стал отцом – на мой взгляд, слишком рано.

Некоторое время я прозябал в одиночестве, а потом мама познакомила меня с одной из своих заказчиц, и как-то незаметно для себя я оказался ее законным мужем, о чем, впрочем, не жалею ни секунды: Сонечка мудрая женщина и умеет со мной обращаться. Так я оказался в женском царстве: мама, Нина с дочкой, Соня, потом появилась на свет наша Марина. К счастью, она росла тихим и самостоятельным ребенком, рано начала читать, так что моим литературным занятиям не мешала, даже наоборот – стала моей главной читательницей.

Однако тихая девочка устроила нам с Соней сюрприз, выйдя замуж сразу после школы. Мы, конечно, ее отговаривали, но дети были так влюблены, что обе пары родителей махнули рукой на этот скоропалительный брак, тем более что Марина уже оказалась беременна. Таким образом моя мужская «партия» усилилась зятем, но все равно мы в меньшинстве, потому что они с Мариной тоже родили девочку. Так что у меня две внучки. Жить молодые стали отдельно, и у меня наконец появился собственный кабинет, а в лице зятя я нашел единомышленника: он тоже сочиняет фантастические рассказы, или, как сейчас говорят, фэнтези.

Зять сподвиг меня опубликовать свое творчество в Интернете, у меня появились читатели и даже поклонники, которые, правда, пишут в комментариях нечто неудобочитаемое: «Аффтар жжот!» или «Пеши исчо!», но зять уверяет, что таков молодежный сленг, и переводит мне особенно непонятные пассажи. Марине, я считаю, повезло с мужем, а я отношусь к зятю как к сыну, в то время как с настоящим сыном отношения складываются неважно.



Всем нашим сложным миром ловко и незаметно управляла мама. А потом ее не стало. Мама прожила 83 года – долгая жизнь. Она удивительным образом сохранила свою красоту, заметную, несмотря на морщины и седину. На одной из последних фотографий мама снята в окружении всей женской части нашего семейства – в этот раз и Максим наконец решил «зарыть топор войны»: привез показать своих девочек. Это заслуга мамы: она всегда поддерживала отношения с Лилей, привечала Максима, обаяла его юную жену и обожала внучку. Это поразительно, но все наши девочки похожи на мою маму так, словно их выпекали в одной форме. А я нисколько на маму не похож, как и на отца. Правда, мама говорила, что я характером и внешностью пошел в ее папу, но проверить нельзя, потому что сохранилось всего две фотографии, да и те давно выцвели. Но оказалось, что эти мамины уверения были ложью.

Разбирая мамины документы, я не сразу обратил внимание на коричневую тетрадку, тем более что и почерк был не мамин. Отложил в сторону, но из нее вдруг выскользнули две фотографии. Как ни странно, я помню эту фотосъемку в ателье: на мне синий матросский костюмчик, сшитый мамой, а на ней красивое вишневое платье с белым кружевным воротничком. У нас дома хранилось несколько карточек с той съемки, но таких, как эти две, не было.

Я заинтересовался и открыл тетрадь. Пожелтевшие страницы, переложенные сухими лепестками роз, почти утратившими свой красный цвет, были исписаны убористым разборчивым почерком, а в конце лежало несколько листов, заполненных уже шариковой ручкой, а не пером, и еще один листок – с напечатанным на машинке стихотворением. На последней странице тетради я с изумлением увидел наш адрес и номер телефона, против которого уже маминой рукой было написано: «Надежда Анатольевна Тагильцева». Начал я со стихов:

Это муж мой, он тысячу лет  
меня лямкой жалеет,  
надевает железный браслет  
и ведет к батарее,  
это снова какой-нибудь он  
восседает на муле,  
он устал, он ведет легион  
электрических стульев —  
бородач, воскрешенный старик,  
басурман горбоносый,  
я жена твоя, вот мой парик,  
оторви мои косы —  
это сон о прохладе ручья  
тишину обнажает,  
потому что я ночью ничья —  
ни своя, ни чужая...<sup>3</sup>

Мурашки побежали у меня по коже. Какие странные стихи! Страшные, завораживающие, полные темных смыслов. Неужто – мамины?! Потом я принялся за тетрадь – прочел все залпом и долго сидел с закрытыми глазами, осознавая прочитанное. Прочел еще раз, уже медленнее. Вот тут и обрушилась на меня обида – горькая, злая, несправедливая. Почему? Почему мама не рассказала мне правду? На седьмом десятке лет узнать, что ты всегда считал своим отцом совсем не того человека! Я же всю жизнь мучился этим родством, переживал, что и в моих жилах течет кровь Кратовых! И слабым утешением было известное изречение: «Сын за отца не отвечает». Эх, мама-мама...

<sup>3</sup> Стихотворение Ганны Шевченко, 2015.

Я не выдержал и позвонил Нине. Так прямо и ляпнул:

– Ты представляешь? Оказывается, моим отцом был какой-то Юрий Тагильцев!

– Как ты узнал? – спросила Нина. – И он не «какой-то», а известный писатель. Тот самый Тагильцев.

– А ты что, знала?!

– Гоша, успокойся! Скажи, откуда у тебя эти сведения?

– Я нашел тетрадку с его записками! Там мое фото. И мамино. Я помню то, что он описывает – дачу в Тарасовке, нашу люстру. Помнишь, мы продали ее, чтобы ремонт сделать после смерти отца? То есть... Черт побери, Нина, так ты знала или нет?!

– Гошенька, я знала. Как раз тогда и узнала, когда Кратов умер. Случайно! И мама просила, чтобы я тебе не рассказывала.

– Почему?!

– Ну, ты же всегда ее боготворил! Она боялась, что упадет в твоих глазах.

– А кто такая Надежда Анатольевна?

– Это жена Юрия Тагильцева. Ты не помнишь ее? Она бывала у нас в доме. Очень милая дама.

– Не помню. Послушай, так я, выходит, тебе не брат?! Не совсем брат?

– Гошенька, ты мне совсем-совсем брат. Тагильцев и мой отец тоже.

– То есть как?! А что же... Но почему?!

– Послушай, я приеду, и поговорим, хорошо? Я все тебе расскажу, что знаю. Ты только не волнуйся, тебе вредно! Я в субботу приеду, раньше никак не смогу.

Я бросил трубку. Нет, до субботы я ждать никак не мог, поэтому снова открыл тетрадь и набрал телефонный номер, записанный мамой. Мне ответил звонкий девичий голосок, и я невольно изумился, когда в ответ на мою просьбу позвать Надежду Анатольевну голосок ответил: «Это я». Сколько же ей лет?!

– Да-да, это я, не сомневайтесь! – словно почувствовав мое изумление, сказала Тагильцева. – Просто у меня голос молодой, как у пионерки, а так-то я давно пенсионерка. А вы кто?

– Я Георгий Кратов.

– Гошенька! – радостно воскликнула Надежда. – Как я рада вас слышать! Как выживаете?

– Хорошо, спасибо, – растерянно ответил я. Почему-то не ожидал, что Тагильцева меня знает. Хотя... Нина же сказала, что она бывала у нас в доме! Меня снова обуяла злость: все всё знали! Только я оставался в неведении. А ведь знай я, кто мой настоящий отец, жизнь могла бы пойти по-другому!

– Гошенька? С вами все в порядке? – участливо спросила Надежда.

– Вы можете рассказать мне...

– О Юрочке? Конечно. Приезжайте.

И я поехал.

## Котя

*(Рассказывает Надежда Тагильцева)*

Так много лет прошло, а я помню все, словно вчера было. Встретились мы в Доме литераторов на вечере Давида Самойлова. В одном ряду сидели, только через проход. И он все время на меня смотрел. Заметила подруга моя, Иришка. Толкнула меня локтем: «Ой, живой Юрий Тагильцев! Надя, да он с тебя глаз не сводит!» Я не поверила, а потом вижу – правда. Разволновалась. А когда беретку надевала перед зеркалом, он и подошел.

– Позвольте, помогу? – и подает мне шубку, что на банкетке лежала. Я так растерялась! Шубку надела и вижу в зеркале, что он улыбается, а я вся красная. Волосы у него полуседые и точно в цвет моего серебристого козлика на шубке. Стою, моргаю, а он говорит: – Простите, что я так неприлично вас рассматривал. Вы очень похожи на мою... знакомую. Давнюю. Сначала я даже подумал, что это она и есть, но потом сообразил, что вряд ли: мы с Катей ровесники, а вы слишком юная особа.

– Да я тоже не слишком юная...

– Лет двадцать пять вам?

– Что вы, уже тридцать два!

– Не может такого быть. Все равно, мне-то почти пятьдесят. Забыл представиться – Юрий Тагильцев.

– Я знаю, кто вы.

– О, слух обо мне прошел по всей земле великой? А как ваше имя?

– Надя Мещерякова...

– Ну что, Наденька, поедem? Я на машине, подвезу вас куда скажете.

– Да? Спасибо! Но я не одна, – растерянно забормотала я, оглядываясь по сторонам в поисках Иришки, но та как сквозь землю провалилась. Потом она призналась, что сбежала тотчас, как заметила приближающегося к нам Тагильцева. С тех пор Иришка всегда говорила, что мы нашли свое счастье благодаря ей. И ведь не поспоришь!

Я жила тогда на Шелепихе, так что довез меня Тагильцев быстро, но расстаться мы никак не могли и чуть не час просидели в машине, просто разговаривая. Я рассказала ему про свое неудачное замужество, продлившееся всего два с половиной года, про сына Сашеньку, про маму, которая вечно мной недовольна, про работу в НИИ, не слишком нравящуюся... На прощание Тагильцев целомудренно поцеловал меня в щеку и сказал:

– Спокойной ночи, милая Котя!

– Почему Котя?

– Потому что потому, – смешно ответил он.

А когда я при следующей встрече пристала к нему с вопросом, он ответил, что взгляд у меня, как у котенка, который впервые увидел бабочку. И волосы пахнут, как кошачья шерстка на солнце. Про кошачью шерстку мне показалось как-то обидно, а во взгляде я ничего такого никогда не замечала. Ладно бы глаза были зеленые – кошачьи, так нет! Обычные серые. Уж и не знаю, что он имел в виду, но только постепенно и мама стала называть меня Котей. Пришлось смириться.

Никакой спокойной ночи у меня тогда, конечно, не получилось: придя домой, я первым делом отыскала на полках две книжки Тагильцева и принялась перечитывать – совсем с другим чувством, чем раньше. Но не читалось. Все перебирала в памяти прошедший вечер, вспоминала, как он смотрел, шубку подал, слушал меня и в щеку поцеловал. «Милая Котя» – сказал! А я-то? Дура дурой! Глаза таращила, лепетала невесть что, зачем-то всю свою жизнь рассказала! А вдруг он никогда не позвонит? А вдруг я его больше не увижу?! И позвонил, и увиделись, и стали часто встречаться, и чем дольше это тянулось, тем больше я влюблялась.

Ходили в театры, на выставки и в рестораны, пару раз Тагильцев водил меня в гости к своим знакомым, где я ужасно стеснялась и зажималась, а потом я пригласила его к себе – познакомиться с мамой и сыном. Вернее, он сам напросился, я бы не осмелилась.

Мама, которая была всего на шесть лет старше Тагильцева, категорически не одобрила это знакомство. Ее подруга, работавшая в одном из издательств машинисткой и знавшая все литературные сплетни, рассказывала о нем ужасные вещи. Мама принялась пугать меня тем, что Тагильцев пьяница и бабник, и характер-то у него невыносимый, и старый он для меня: «Зачем ты опять выбрала творческую личность, нет бы кого попроще и помоложе!» «Опять» – это мама имела в виду моего первого мужа. Он ей тоже не нравился. Но тут я признавала ее правоту: выскочила замуж не подумавши, а человеком он оказался дрянным, хотя и был неплохим художником. Ну да, тоже старше меня, хотя всего на семь лет, а не на семнадцать, как Тагильцев.

Я опять маму не слушала и правильно делала: никаким пьяницей Юра не был, хотя выпить любил, но градус держал хорошо и знал меру, а если невзначай перебирал, то просто засыпал. Женщин у него, конечно, было много, он сам мне все и поведал. Но ни одна не затронула сердце, как он говорил, и я склонна ему верить. Ни одна, кроме Кати. Но про Катю я узнала гораздо позже.

Потом как-то так получилось, что мы дней десять не виделись: Сашенька простудился, а Тагильцеву пришлось уехать ненадолго в Ленинград, где снимался фильм по его сценарию. Мы так соскучились, что сразу, как только я села к нему в машину, принялись целоваться, да так горячо, что я сама предложила:

– Хотите, не пойдем никуда, а поедем к вам?

Я все еще называла его на «вы», хотя он ко мне обращался на «ты» – не могла решиться, как он ни просил.

– Хочу, – ответил он. – Давно пора.

Я, конечно, по дороге слегка остыла и ударилась в легкую панику: а вдруг я не смогу? А вдруг я какую-нибудь глупость сделаю? А вдруг он разочаруется?! А вдруг... Думаю, Юра заметил мое волнение. Обращался он со мной необычайно нежно, я перестала стесняться, и все у нас замечательно получилось. Ему-то опыта было не занимать! По сравнению с моим бывшим мужем-двоечником Юра просто академик любовных наук.

На следующий день Тагильцев пришел официально просить моей руки – с огромным букетом роз, шампанским и тортом «Прага». Мама поджала губы, но что она могла возразить? А Сашеньке Юра сразу понравился. Через месяц мы расписались, и я не помнила себя от счастья. Расписаться-то мы расписались, но еще очень долго устраивали нашу совместную жизнь. У нас была двухкомнатная квартира, у него – однокомнатный кооператив, и некоторое время мы так и жили на два дома. Потом наконец съехались в большую квартиру на Комсомольском проспекте. Мама, надо отдать ей должное, предлагала съезжаться без нее, но я знала, что она привязана к Сашеньке и будет тосковать в одиночестве, поэтому не послушала.

Как ни странно, мы прекрасно ужились в новом доме, тем более что у мамы и Сашеньки было по отдельной комнате, в двух других сделали Юрин кабинет и нашу спальню, а большая кухня служила заодно и гостиной. Конечно, зять с тещей не сразу притерлись друг к другу, но ссоры случались исключительно на книжной почве. В этой области мама чувствовала себя специалистом, потому что всю жизнь преподавала в школе литературу и русский язык. Вкусы у них были разные, и мама из себя выходила, когда Юра вдруг напал, например, на Льва Толстого:

– Да его ж читать невозможно, вашего классика! Не предложения, а каменные глыбы. И ошибок много. Что это такое: «Вронский посмотрел на князя своими твердыми глазами»?

Тут мама соглашалась:

– Да, конечно, надо «твердым взглядом».

– Тоже не лучше. И пошlostей полно.

– Каких пошlostей?!

– «Вино ее прелести ударило ему в голову» – к примеру. Словно экзальтированная дамочка написала. Шаблон из шаблонов.

– Помилуйте, Юрий Александрович, этот, как вы выражаетесь, «шаблон» сам Толстой и создал!

– А постоянные повторы?

– О чем вы говорите?

– Я вам сейчас найду... Вот, Китти смотрит на Анну, танцующую с Вронским: «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны выющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести...» Семь раз подряд – «прелестно»!

– И правда... Никогда не обращала внимания...

– Но вообще-то здесь это оправданно, – вдруг делал Юра разворот на 180 градусов. – Это ведь Китти так думает. Она по-девичьи пристрастно разглядывает рукавички Анны, ее плечи, руки – завидует, восхищается, расстраивается, понимая, что сама совсем не так прелестна, и уже признает право Анны на Вронского. Это даже трогательно. А потом из-за спины Китти выступает автор и говорит зловещим голосом: «Но было что-то ужасное и жестокое в прелести Анны»! Гениально написал, просто гениально.

Тут мы не выдерживали и начинали хохотать, а Юра недоумевал:

– Что? Разве я сказал что-то смешное? – Но потом и сам смеялся: – Ну да, начал за упокой, кончил за здравие! Но я от своих слов не отрекаюсь: Толстой гений, но читать его невозможно.

Постепенно мама поддалась обаянию Юры и перестала ворчать, особенно когда увидела, как много он работает, да к тому же ей было интересно и лестно знакомство с Юриными друзьями-литераторами.

Тагильцев долго вынашивал текст, вернее, выгуливал: ему лучше придумывалось на ходу. Потом, когда все уже устоялось в голове, он от руки писал первый вариант – на листах писчей бумаги убористым четким почерком, оставляя большие поля и интервалы между строчками для последующей правки. Написав, перечитывал и тут же правил теми же чернилами, потом откладывал текст, чтобы вернуться к нему, когда весь рассказ будет готов. Тогда уже правил красным, переписывал и переклеивал куски, а после очередного «вылеживания» сам печатал текст на машинке, правя на ходу. Спустя какое-то время перечитывал, вносил новую правку и уже отдавал машинистке, считая вещь оконченной. Потом он некоторое время маялся в поисках нового сюжета, вот тут-то и затевались литературные битвы, приемы гостей и внезапные поездки – то в Ленинград, то в Нижний Новгород.

Мама долго приглядывалась к зятю, помня о его репутации и переживая, как бы дочь опять не осталась у разбитого корыта. Наш литературный круг был весьма тесен, так что после замужества я волей-неволей познакомилась со всеми его бывшими женами и возлюбленными, которые мне сочувствовали и предрекали наш скорый разрыв, уверяя, что выносить Тагильцева невозможно. Как сказала одна из женщин: с ним жить – словно о каменную стену головой биться. Особенно злобствовала вторая жена. Потом, когда Юры не стало, она даже книжку написала, где живого места на нем не оставила. Я выслушивала все это с плохо скрываемым недоумением, потому что ничего подобного их рассказам в нашей жизни не наблюдалось. Какие скандалы, какие пьянки? «Значит, перебесился», – сказала жена номер один, пообщавшись со мной.

Через какое-то время отношения между мамой и Тагильцевым настолько наладились, что из Юрия Александровича он превратился в Юрочку, а мама стала его первым читателем – вместе со мной, естественно. Но от мамы было больше толку: мне всё всегда нравилось, а она не стеснялась делать замечания, к которым Юра прислушивался, молчаливо признавая ее безупречный литературный вкус и чувство стиля. Только после смерти мужа я узнала, как произошло их окончательное примирение. Мама случайно увидела, что Юра подсматривает за мной в приоткрытую дверь – я что-то зашивала, сидя у стола, и тихонько напевала. Мама говорила, у Юры было такое выражение лица, что она мгновенно простила ему все прегрешения. Он заметил тещу и ужасно смутился, а она, растрогавшись, спросила:

– Господи, Юрочка, вы так сильно ее любите?!

– Больше жизни, – просто ответил он и поцеловал маме руку.

Но я ничего этого знать не знала и все время переживала, что недостаточно хороша для Тагильцева, а когда узнала про Катю, мои переживания только усугубились. Произошло это в первый год после переезда на Комсомольский проспект. Юра потихоньку разбирал коробки со своими архивами, которых было много, заодно и систематизировал. Я зашла и увидела, что он с чрезвычайно унылым видом сидит на стуле над стоящей на полу картонной коробкой, наполовину разобранный, а в руках у него коричневая общая тетрадь.

– Что ты? – спросила я. – Устал? Брось это дело, пойдем чайку попьем. Мама купила твои любимые сушки с маком.

– Да, сейчас, – сказал он рассеянно. Встал, сунул мне в руки тетрадь и вышел, буркнув на ходу, чтобы прочла. Я села на тот же стул и открыла тетрадку. И первое, что увидела, была фотография Кати, лежащая между страницами. Действительно, мы поразительно похожи, только взгляд у нее другой, тревожный. Еще была карточка маленького мальчика в матроске – с надписью на обороте: «Гошеньке четыре года». Я принялась читать, сразу узнав почерк Тагильцева, а когда добралась до конца, долго сидела, глядя в окно и ничего не видя. Так вот оно что, думала я. Неужели Юра выбрал меня только из-за этого сходства? Да еще придуманное им прозвище – Котя! Тоже ведь почти Катя. И такая печаль на меня вдруг навалилась, что даже сердце заболело. А Юра словно почувствовал – прибежал, присел рядом со мной на корточки, за руки схватил, стал в лицо заглядывать:

– Котенька, ты что – плачешь?! – Подхватил меня, обнял: – Ну что, что ты! Это ж давным-давно все было! Не из-за чего расстраиваться!

– Ну как же – не из-за чего, – возразила я, всхлипывая. – Вон страсти какие. Ты ее до сих пор любишь, да?

– Чувство очень сильное было. Но я не уверен, что это любовь. Шесть встреч всего, а по общему времени и суток не наберется. А вот поди ж ты, не забывается. Катя – моя боль. А ты – моя радость. Прости, не надо было тебе эту тетрадку давать. Как-то я не подумал.

– Она была твоей первой женщиной?

– Нет. Первую вспоминать неохота. Так, случайная.

– Мне тебя жалко стало. Почему она мужа не бросила? Раз тебя любила?

– Милая, ты ведь не помнишь этого времени! К счастью. Для тебя – история, а мы в этой истории жили. В вечном страхе, с оглядкой. Не могла она уйти. Муж ее везде бы достал. Да и куда уходить? У меня ни жилья тогда не было, ни работы толковой.

– И больше вы с ней не виделись?

– Нет, никогда.

Мы полночи не спали, все разговаривали. И я наконец перестала сравнивать себя с его первой любовью, ревновать и беспокоиться о прочности брака, потому что Юра сказал:

– Знаешь, я всю жизнь мучился Катей: страдал, обижался, злился, искал разгадку. Даже писать из-за этого начал. А теперь понял. Встреча с ней для того была, чтобы я потом тебя не пропустил.

Мое бедное сердце так и вздрогнуло при этих словах.

– Ты меня правда любишь? – спросила я дрожащим голосом. Юра рассмеялся, стиснул меня так крепко, что я невольно пискнула, и проговорил несколько раз:

– Люблю. Люблю. Люблю! – И, целуя, добавил: – Глупая ты моя Котя! Такая милая, такая смешная! Единственная. Ни на кого не променяю. Никогда.

В 1987 году Юра затеял творческий вечер в ЦДЛ: ровно двадцать лет назад была опубликована его первая книжка, до этого он печатался только в журналах. К тому же недавно вышел в свет его очередной роман. После вечера к Юре выстроилась очередь желающих автографа. Мама с Сашенькой уехали домой, а я подошла к Юре – потом мы хотели посидеть в ресторане с друзьями. В конце очереди стояла очень красивая девушка, и я на нее невольно загляделась. Девушка была высокая, стройная, черноволосая и черноглазая, в темной юбке и бордовой водолазке, которую украшала нитка круглых разноцветных бус. Наконец она подошла и протянула Юре книгу, он спросил ее имя и быстро надписал: «Нине от автора с пожеланием удачи», но тут она подала еще одну книжечку, старую и зачитанную:

– А эту надпишите, пожалуйста, маме. Она большая ваша поклонница.

– О! – удивился Юра. – Котя, посмотри! Это же то самое первое издание!

– Да, мама двадцать лет с ней не расстается, – сказала Нина. – Больше всего ей нравится рассказ «Сирень».

– Сирень? – переспросил Юра и вдруг внимательно взглянул на девушку. – А как зовут вашу маму?

– Екатерина Владимировна Кратова.

Я внутренне ахнула, а Юра переменялся в лице, потом справился.

– Значит, вся ваша семья – мои почитатели? – спросил он, листая старую книгу и что-то в ней высматривая.

– Нет, только мы с мамой! – рассмеялась Нина. – Отец вообще ничего не читает, а брат сам писатель. Как в анекдоте, знаете? Чукча не читатель, чукча писатель! Вообще-то он историк, но пишет фантастические рассказы. О путешествиях в прошлое.

– Может быть, я его знаю? Как его имя?

– Он пишет под псевдонимом «Егор Назимов». Мамину девичью фамилию взял, а Егор – это тот же Георгий, как он уверяет.

– Это верно, – сказал Тагильцев, взглянув на Нину. – Юрий и Егор – русские формы греческого имени Георгий. Так что мы с вашим братом, можно сказать, тёзки. Значит, Егор Назимов? Буду иметь в виду.

– Да он пока только пару раз публиковался – в журнале «Наука и жизнь».

Юра надписал книгу и встал. Вытащил из большого букета, лежащего на столе, одну темно-красную розу и подал Нине вместе с книгой:

– Вот, возьмите. Это вашей маме. Букет от Союза писателей, так что ничего страшного, если я подарю.

– Ой, спасибо! Ей будет приятно!

– Передайте вашей маме, что у нее очаровательная дочь.

Нина ушла. Юра смотрел вслед, пока она не скрылась за дверью, а потом тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками. Я придвинулась ближе и обняла мужа.

– Ты поняла? – спросил Юра сдавленным голосом. – Ты поняла, кто это был?

– Похоже, твоя дочь. А я все думала, на кого она похожа? На Катю, конечно. Но мне кажется, она не знает, кем ты ей приходишься.

– Да, похоже, не знает. Это Катя все устроила! Хотела, чтобы я дочь увидел. Знаешь, что она сделала? Подчеркнула кое-что в той книжке. В рассказе «Сирень». Помнишь его?

– И что же?

– Два последних предложения: «Давно это было. А забыть никак не могу».

– А ты ей что написал?

– «Каждый год расцветает сиреневый куст...»

Это была первая фраза рассказа: «Каждый год расцветает сиреневый куст у заброшенной бани». В ресторане Юра напился. Кое-как с помощью друзей доставила его домой, уложила. Сама спать не могла, все думала. Может, надо было все-таки родить ребенка? Сразу, как поженились? Сейчас-то мне за сорок, поздновато. Но врачи и тогда не советовали, а мы послушались. Наверно, зря. Помучившись без толку, нашла ту самую книжечку, стала перечитывать. Поняла, что Катя невидимо присутствует в каждом рассказе. Да, больно его тогда ранило, раз до сих пор душа саднит. Захотелось увидеть, какова она, Екатерина Кратова? Что в ней такого особенного, что Юра три десятка лет вспоминает? Но довелось мне увидаться с Катей только через семнадцать лет.

Когда Юре исполнилось шестьдесят, на него навалились всяческие болячки, хотя до этого он никогда ни на что не жаловался, да и вообще особенно за своим здоровьем не следил. Может, потому и навалились. То одно, то другое: сначала сильно простудился, простуда перешла в воспаление легких, потом вдруг желудок забарахлил, за ним печень, колено вдруг опухло. Стал раздражаться, что приходится по врачам бегать, вместо того чтобы писать «нетленку», как он выражался. Бегал-бегал, лечился-лечился, а умер в одночасье, даже до больницы не довезли. Врачи сказали – тромб. Не мучился, не страдал. Год до семидесятилетия не дотянул. Меня это, конечно, подкосило. В буквальном смысле: три дня подняться не могла. Пришлось маме с Сашей всеми похоронными делами заниматься. Саша к тому времени уже два года был женат, и его Бэллочка ждала ребенка, но тоже помогала. Саше очень повезло с женой! Бэллочка миниатюрная и хорошенькая, очень добрая и сострадательная.

А потом я собралась с силами и встала. Вернее, Юра меня поднял. Он всегда знал, что первым уйдет из жизни, и ужасно беспокоился, чтобы я без него не пропала. И вот я лежу и думаю: смотрит сейчас на меня Юра оттуда и что видит? Полную размазню! Нет, так не годится. Села на кровати, а меня вдруг повело – ослабела, почти и не ела ничего все эти дни. Тут-то Юра меня и поддержал – почувствовала его руку у себя на плечах: «Потихоньку, потихоньку, вставай, Котенька, поднимайся». Так и дальше старалась держаться, чтобы Юру не расстраивать.

Через полгода я смогла заставить себя приняться за разборку Юриного архива. Наткнулась на коричневую тетрадку и подумала, что надо бы отдать ее Кате. Или не надо? С Юрой мы это не обсуждали, но я чувствовала, что он хотел бы. Но как я ее найду? Да и жива ли она? А если нет, то стоит ли открывать ее детям тайны прошлого? Столько лет прошло!

Открыла тетрадь, смотрю, а он туда еще листки вложил с текстом. Дописал, видно, после нашего разговора. Что-то вроде предисловия сделал. А в конце тетради добавил адрес: перулок между двумя Полянками, Большой и Малой, и номер дома. «Квартиру не помню, – написал, – но их там всего две на площадке, Катина – слева». Ну вот, не зря же Юра это сделал! Надо идти. А уж как будет – так будет. Может, Кратовы давно в другом месте живут или самого дома уже не существует. Но и дом был на месте, и Кратовы. Сама Катя мне дверь и открыла. Я сразу ее узнала, хотя, конечно, она постарела и поседела.

– Это вы – Екатерина Владимировна Кратова? – спросила я.

– Да, – ответила она. – Чем могу помочь? – Но не успела я и рта открыть, как она воскликнула: – Бог мой, да вы жена Тагильцева!

– Да. Как вы узнали?

– Я ждала вас. Рано или поздно вы бы пришли. Удивительно, что именно сегодня! – Она провела меня в маленькую комнату, усадила, сама села напротив. – Как он умер? Он страдал? Я хотела пойти попрощаться, но... Нет, не смогла.

– Умер мгновенно. Легкая смерть. А почему удивительно, что я пришла именно сегодня?

– В этот день мы с ним познакомились. Ровно пятьдесят лет назад. Такой же май был, сирень цвела. Роскошный куст под окнами рос, давно его нет. Юра рассказывал вам обо мне?



– Рассказывал. И вот...

Я подала ей тетрадь. Катя схватила ее, прижала к груди и, не выдержав, заплакала. Потом сказала:

– Простите. Не сдержалась. Вам-то гораздо тяжелей. Долго вы с ним прожили?

– Двадцать два года.

– Долго.

Мы помолчали, разглядывая друг друга. Для своих семидесяти Катя выглядела на редкость хорошо: ей шла седина, оттеняя яркость карих глаз, а морщин почти не было заметно. Возраст выдавали только шея да руки.

– Ваши дети... – спросила я. – Они действительно от Юры?

– Да, оба. Георгий и Нина. Хотите фотографии посмотреть?

– Очень!

– Сейчас я распоряжусь насчет чаю, а потом альбомы достану.

Катя вышла. Я огляделась по сторонам: очевидно, это была маленькая комната, где тогда обитала бабушка, а сейчас жила сама Катя. Обстановка самая спартанская: небольшой старинный гардероб – у нас тоже такой когда-то был, круглый стол, стулья и полки с книгами, ножная швейная машинка. Единственными современными вещами были узкая кровать и маленький телевизор на тумбочке. На широком подоконнике стояла ваза с тюльпанами, а на стене висела старая выпцветшая репродукция – портрет Ермоловой работы Серова в рамочке под стеклом.

– Ну вот, сейчас все будет, – сказала Катя, входя в комнату. В руках она держала три больших альбома. – Невестку попросила, чтобы сюда нам чай подала. А то она там что-то готовит на кухне, мы будем ей мешать. Я с сыном живу. Дочка у него, семь лет, в этом году в школу пойдет. Еще сын есть, тому уже двенадцать. Но почти не видятся, к сожалению. Гоша не был женат на его матери, не сложилось. А Нина моя уже третий раз замужем! В первом браке дочку родила, скоро тринадцать внучке.

– Нина очень на вас похожа.

– Ну да, вы же ее видели на Юрином вечере. Она мне вас тоже описала, но не очень вразумительно. Сказала только, что милая.

– А Гоша непонятно в кого пошел, – сказала я, рассматривая фотографии. – Но что-то от Юры есть. Глаза, брови – вам не кажется?

– Согласна. Но больше всего Гоша на моего папу похож. По характеру. Я его почти не помню, но бабушка рассказывала, какой он был: мягкий, нерешительный, вечно в себе сомневался, по пустякам расстраивался. Бабушка, конечно, не такого мужа для дочери хотела, но что делать – любовь! А я в маму пошла, так бабушка говорила. По фотографиям не разберешь ничего – маленькие, да и выпцвели со временем. От бабушки и фото не осталось. Вот, только репродукция с портрета Ермоловой. Бабушка ее напоминала.

– Да, у Юры совсем другой характер был. Вечно лез напролом. Екатерина Владимировна, а дети так и не знают?

– Нина узнала, когда муж умирал. Случайно получилось. Она даже хотела повидаться с Юрой, меня подбивала. Но потом мы решили: пусть все так и остается.

– Жалко. Юра хотел бы вас увидеть. Он был потрясен, когда понял, кто такая Нина.

– Вы Нине тогда очень понравились. Она пока за автографом в очереди стояла, все вас разглядывала и умилилась, когда Юра вас Котей назвал. Сказала: сразу видно, что они любят друг друга. Вот я и не захотела прошлое ворошить, смуту вносить в ваши с ним отношения. Не предполагала, что вы все знаете. Гоше тоже не стала ничего рассказывать. У сына ко мне очень трепетное отношение, даже возвышенное. Я боялась его разочаровать, понимаете?

– Понимаю.

– А у вас есть дети?

– У меня сын от первого брака. Женился недавно, скоро бабушкой буду. Юра очень любил Сашеньку, много с ним занимался. Мой сын... Он глухой. Болел в младенчестве, а это осложнение.

– Сочувствую вам от всего сердца!

– Да, нам было непросто. Муж сразу нас бросил, как узнал про диагноз. Если бы не Юра!.. У него связи были, да и деньги, что тут скрывать. Мы смогли найти хороших врачей, Саше операцию сделали, на правом ухе слух частично восстановился. Достали ему хорошие слуховые аппараты. Саша художник. Юра, конечно, ему с выставками много помогал. И вообще воодушевлял. А потом, представляете, Юра после гриппа вдруг оглох на правое ухо! Смеялся, что у них с Сашенькой пара ушей на двоих...

Мы проговорили целый вечер. Катя многое мне рассказала, и я стала лучше понимать ее тогдашние поступки. Расстались мы подругами. Я обещала свозить Катю к Юре на кладбище, а она отдала мне несколько фотографий Гоши и Нины. Когда прощались, Катя спросила:

– Вы были счастливы с ним?

– Да! Мы так любили друг друга, мы...

– Да разве можно вас не любить? – сказала Катя и поцеловала меня в щеку. – Никак нельзя. Хорошо, что Юра вас встретил.

Не знаю, что такого она во мне увидела. Двенадцать лет дружили мы с Екатериной Владимировной – называть ее по имени у меня так и не получилось, все-таки она была гораздо старше. Перезванивались часто, в гости друг к другу ездили. И как-то так получилось, что она тоже стала звать меня Котей, как Юра. Она меня утешала и поддерживала, когда мамы не стало. Саша с Бэллочкой к тому времени в Израиль уехали, а я не захотела, сказала: тут помру, чтобы с Юрой рядом положили. А теперь и Екатерины Владимировны нет. Ниночка, конечно, не оставляет, навещает. Но милой Котей меня уже никто не назовет.

## Докторишка

*(Рассказывает Нина Кратова)*

Отца мы никогда особенно не любили. Нет, пожалуй, это слишком сильно сказано. Скорее, мы отгораживались от него, отстранялись, обходили стороной: так дети стараются держаться подальше от большой собаки, даже не выражающей злобных намерений. Возможно, потому, что отец сам не любил детей и не умел с ними обращаться. С Гошкой он еще находил общий язык, но я ему не давалась. Есть фотография, где отец держит меня на коленях – маленькая девочка в нарядном платьице вся напряжена и силится вырваться. Я помню, как не хотела сниматься.

«Гладкая какая, не ухватистая», – говорил дед Пава, которого я тоже избегала, не вынося колючих усов и запаха перегара. Такой я и выросла – «неухватистой», никого не подпуская слишком близко. В отличие от меня Гошка уродился «шершавым» – «шаршавым», как выговаривала баба Паня. «Ишь, шаршавый какой!» – восклицала она на очередной Гошкин каприз. Брат действительно обладает нравом колючим и занозистым, как неструганая доска. Мама уверяет, это оттого, что он творческая личность. Писатель, но не реализовавшийся полностью. Мятущаяся натура! То, что он гуманитарий, понятно было с детства, но Гошка долго не знал, куда поступать, – даже ходил на день открытых дверей на журфаке, но поглядел на местную публику и струсил. Да и какой из него журналист! Гошка – типичная архивная крыса, отшельник, анахорет. Все его раздражает, вечно недоволен и собой, и миром. Сколько раз я ему говорила: как ты смотришь на мир, так и он на тебя, что даешь – то и получаешь. В общем, как аукнется, так и откликнется. Не знаю, возможно, такой склад характера выработался у него из-за детских травм: ему пришлось гораздо дольше, чем мне, прожить рядом с бабкой и дедом, от которых мы ничего хорошего не видели и не слышали.

Деда Паву я помню плохо, он умер, когда мне было десять, да и жили они отдельно, приезжая в гости лишь по праздникам. Баба Паня после смерти деда прожила некоторое время с нами, да и потом иной раз гостила по нескольку дней. Характер у нее был тяжелый, язык острый, глаз внимательный. Она чаще цеплялась ко мне, особенно когда я повзрослела: осуждала слишком вызывающие, как ей казалось, наряды и мою «вертлявость», которая непременно доведет до греха. Не нравилось ей и мое сходство с мамой, в чем она видела причину всех будущих бед. Один раз у нее вырвалось, что я гораздо подол задирать так же, как моя мать: какова яблонька, такова и поросль! Я тут же окрысилась, пожаловалась маме, и баба Паня на следующий же день покинула нас – поджав губы и ни с кем не попрощавшись. Больше не гостила, отец сам ее навещал.

Внешне отец был больше похож на бабу Паню, хотя и от деда Павы ему кое-что досталось: высокий рост, тяжелый взгляд и ранние залысины на висках. Он был стройный, подтянутый, светловолосый и голубоглазый, даже красивый, если бы не постоянная мрачность. Увидев как-то фотографию Картье-Брессона, изображающую советского офицера в Третьяковской галерее, я ахнула: вылитый отец! Та же выправка, то же выражение суровой замкнутости.

Отец не обижал нас с Гошкой, даже голоса ни разу не повысил. Покупал нам игрушки и сладости, пытался расспрашивать о наших детских делишках, но видно было, что он делает над собой усилие, да и мы не шли ему навстречу. Возможно, на нас действовал пример матери, хотя она про отца никогда худого слова не сказала. Она не перечила отцу, не вступала с ним в спор, да и вообще почти не разговаривала. При нас родители ни разу не поругались, очевидно, решая свои проблемы за закрытой дверью спальни. В квартире было три комнаты, родители занимали большую, а нам с Гошкой достались поменьше, и он обижался, что ему выпала самая маленькая, хотя мы честно тащили жребий. Мы не входили к родителям без стука, как, впро-

чем, и они к нам. Только однажды я нечаянно подглядела странную сцену, которая долго потом занимала мои мысли.

Мне было лет двенадцать. Неосторожно напившись вечером любимого компота, я в полночь побежала в туалет. Дверь родительской спальни была приоткрыта, оттуда выбивался свет, и я зачем-то заглянула. Прямо напротив меня на кровати сидела мать, заплетая косу. На ней была белая ночная рубашка в цветочек. Чуть повернув голову, я увидела отца: он стоял спиной ко мне – в одних трусах. Тут-то я и разглядела страшные шрамы: один под левой лопаткой, другой на пояснице справа. Отец что-то тихо говорил, но я ничего не могла слышать из-за собственного дыхания, которое старалась сдерживать, отчего пыхла еще больше, да и сердце колотилось где-то в ушах. Я почему-то испугалась, хотя ничего тревожного не было ни в позе отца, ни в выражении лица матери. «Катя, – расслышала я слова отца. – Умоляю тебя!» И тут мать сделала странную вещь: вытянула в его сторону ногу, а потом как бы указала ею на пол. Отец резко шагнул к кровати, и я подумала: сейчас произойдет что-то страшное! Но он вдруг рухнул на колени. Именно рухнул, я даже словно услышала грохот обрушившейся конструкции тела. Потом нагнулся, взял ее ногу за щиколотку и поцеловал подъем маленькой ступни...

Я отскочила от двери и побежала к себе. Я мало что поняла, но одно почувствовала совершенно точно: мама унизила отца, а он принял это унижение. Мой маленький мирок перевернулся: мне всегда казалось, что именно мама находится в подчиненном положении! Она на любой свой шаг спрашивала отцовского разрешения и, молчаливо подчиняясь его требованиям, лишь порой пожимала плечами или выразительно поднимала брови.

Поговорить об этом я не могла ни с кем – не с Гошкой же! Так и носила в себе долгие годы, пока наконец не узнала страшную правду и не поняла, как обстояло дело в действительности. Но про шрамы я у Гоши спросила. Он ответил, что отца ранили на войне и на службе, а больше он и сам не знал. Надо сказать, что отцовская служба у нас в семье не обсуждалась вообще – точно так же мы никогда не говорили о политике. Мы знали, что отец работал «в органах», как и дед Пава, но только повзрослев, осознали, что это за органы. Чем именно занимается отец на Лубянке, мы никакого представления не имели.

Все свои сомнения, беды и огорчения мы доверяли только маме. Она умела с нами разговаривать, а еще больше – слушать. А иногда и слов не требовалось: мама могла многое выразить улыбкой, взглядом, движением брови. Между нами существовала такая тесная связь, что мама всегда знала, где мы были и что делали – еще до наших рассказов. А сколько раз я и Гошка внезапно бросали свои занятия и шли на беззвучный зов матери, которой требовалась какая-нибудь помощь: она только подумала, а мы услышали. Когда звонил телефон, она, еще не сняв трубку, говорила, кто звонит, и всегда чувствовала приближение какого-либо важного события. В детстве мы не придавали этому особенного значения, но когда выросли, осознали, что такие способности матери весьма необычны.

После этого ночного происшествия я увидела отношения родителей в новом свете и осознала, насколько мама сильна духом и самодостаточна. Она подчинялась отцовскому диктату совершенно равнодушно, внутренне посмеиваясь, всем своим поведением словно бы говоря: «Ну что ж, коли так, будь по-твоему. Хозяин – барин». Помню, как я возмущалась, что отец не разрешает маме остричь ее длинные волосы или категорически запрещает мне носить брюки, а уж тем более входящие в моду джинсы. Мама сказала:

– Нина, какая разница, что носить? Одежда – эта рама, а ты картина. Если картина шедевр, не важно, какая рама. А ты мне вполне удалась. В любой одежде будешь выглядеть королевой.

Мама прекрасно шила и вязала, так что наряды у меня всегда были самые модные, а идеи мы с мамой черпали из журнала «Rigas Modes», а потом из «Бурды» – с условием, что они пройдут папину цензуру. Но мама умела его убедить, так что иной раз утром он отменял свой вечерний запрет.

– Я подумал, – говорил он, не глядя на меня, – и решил, что ты можешь пойти на этот день рождения. Но чтобы к девяти дома была!

– Спасибо, папа, – тоном примерной девочки отвечала я, переглядываясь с мамой, которая прятала усмешку. Конечно, возвращалась я в начале одиннадцатого.

Только после собственного замужества осознала я правоту старинной поговорки: «Ночная кукушка дневную перекукует» – и поняла, насколько отец в этом смысле зависим от мамы – он был из породы однолюбов. А «ночной кукушке» приходилось очень и очень стараться, потому что влияние бабы Пани и деда Павы было велико, и отец всегда находился как бы между молотом и наковальней, особенно когда мы все жили вместе. Правда, я этого не помню, но Гошка рассказывал мне о происходивших время от времени скандалах.

Но жизнь постепенно менялась. Через десять лет после смерти деда Павы скончалась баба Паня. Хотя она жила отдельно от нас, у всех, думаю, у отца тоже, было чувство, что убрали каменную плиту, которая давила на нашу семью и не давала вздохнуть свободно. Мама, несмотря на возражения отца, тут же устроилась на работу в районную библиотеку. Она хотела сделать это сразу, как я поступила в институт, но тут слегла баба Паня, и маме пришлось ухаживать за свекровью.

Только с началом перестройки мама стала свободно высказываться. Теперь мы бурно обсуждали все происходящие события и телевизионные репортажи, но отец по-прежнему отмалчивался или просто уходил. В собственной семье он оказался изгоем: мама по-прежнему вела дом, но отца практически игнорировала и во всем поступала по-своему, даже постриглась вопреки его запрету.

Именно тогда, в конце восьмидесятых, и проявилась его болезнь. Диагноз был известен, операция оказалась не слишком удачной, химиотерапия болезненной. От повторной операции отец отказался и медленно умирал у нас на глазах, страдая от мучительных болей и от крушения всех прежних идеалов – если они у него, конечно, были. Но привычное ему устройство мира рушилось на глазах.

Лежал он в родительской спальне на своем кожаном диване, категорически отказавшись перебраться на более удобную материнскую кровать. Он сделался раздражительным и капризным, что вполне понятно. Маме пришлось уволиться, чтобы ухаживать за отцом, что она делала спокойно и отрешенно, не срываясь и не жалуясь. Мы с Гошей помогали по мере сил.

Я тогда жила у мужа, с которым собиралась разводиться, а Гоша все еще ходил в холостяках, хотя уже отметил сороковник и успел обзавестись отпрыском. Никогда не понимала его отношений с женщинами! На мой взгляд, он вечно сам осложняет себе жизнь, придумывая какую-то неземную и всегда неразделенную любовь. Сначала это была нервическая Лиля, которая бегала за ним как кошка и которую он «пожалел». А потом случилась Ольга, недоступная и прекрасная, совершенно не собиравшаяся бросать мужа-академика ради какого-то жалкого архивиста. Хорошо, что мама познакомила Гошку с Соней, а то он до седых волос так и метался бы от одной великой любви к другой.

Не знаю, возможно, я слишком практична, но еще ни разу не посещало меня чувство, подобное Гошиным страстям. Или это сказывается мой род деятельности – медицина? Врачи довольно часто становятся жёсткими циниками, слишком много страданий им приходится наблюдать. Гошка всегда говорил, что мне одна дорога – в хирургию: «Режешь по живому!» Я и сама вначале мечтала о хирургии, но, поразмыслив здраво, все-таки выбрала не такую тяжелую специальность. Точно так же я стараюсь избегать и тяжелых отношений – одного раза мне оказалось достаточно.

У меня было множество романов, ничем не закончившихся, и три брака. Первый развалился как раз из-за того, что муж пытался ухватить меня покрепче. Мы были сильно влюблены, но потом оказалось, что Аркадий патологически ревнив и норовит запереть меня в четырех

стенах. Какое-то время я помучилась с ним, а потом развелась, навсегда сохранив чудесные отношения с его матерью – с первой свекровью мне повезло.

Наша дочь тогда была совсем маленькая, но, похоже, до сих пор не простила мне развод с ее отцом. Она чрезвычайно на него похожа нравом и манерами: сидит, закинув ногу на ногу, и пьет чай, хлюпая, в точности как Аркадий. И такая же собственница. Именно поэтому мой второй брак долго не продержался: муж был неплохим человеком, пытался найти подход к падчерице, но дочь приняла его в штыки, и, помаявшись некоторое время, мы расстались к обоюдному облегчению.

За Николая я смогла выйти замуж, когда дочь повзрослела и сама принялась крутить романы, так что личная жизнь матери перестала ее волновать. Отношения у них ровные, и я рада. Николай – моя тихая гавань. Главное, что у нас с ним полное взаимопонимание и хорошие партнерские отношения: он закрывает глаза на мои выкрутасы, а я стараюсь не замечать, как он распускает свой павлиний хвост.

Но я забежала далеко вперед! Вернемся в прошлое, в те страшные дни, которые перевернули мой мир окончательно. Тогда я приехала рано, оставив выздоравливающую от очередной простуды дочку на свекровь. Открыла дверь своим ключом и сразу прошла на кухню, чтобы разгрузить сумки. Увидела там бикс со шприцем и поняла, что мама только что сделала отцу укол морфина, который мы доставали всеми правдами и неправдами – спасибо, и мои, и отцовские коллеги помогали.

Я направилась к родительской спальне, дверь которой была приоткрыта, и словно перенеслась в прошлое: снова я, двенадцатилетняя, подслушивала под дверью! На этот раз я услышала все, тем более что замолк телевизор, который у отца работал почти круглосуточно.

– Ну что, легче стало? – спросила мама.

– Да, спасибо. – Потом раздраженно добавил: – Зачем ты выключила телевизор?

– Тебе вредно так много смотреть новости. Ты нервничаешь, и боли усиливаются.

– Ничего, скоро отмучаюсь. Наконец заживешь по-своему.

– Да зачем же скоро? Ты еще помучаешься, пострадаешь. А я уж все силы приложу, чтобы ты подольше протянул.

– Господи, Катя! За что ты так со мной?! – В голосе отца послышались слезы, а у меня мурашки поползли по спине.

– А то ты не знаешь. Смотри-ка, Господа вспомнил! Господь-то, может, и простит, да я вот нет.

– Катя, – простонал отец. – Что ж в тебе никакой жалости нет?

– А где была твоя жалость, когда ты моих родителей на тот свет отправил?

– Это не я!

– Не ты, так папаша твой, гореть ему в аду вместе с маменькой.

– Твои родители были врагами народа.

– Врагами народа! – засмеялась мама, и от ее смеха мне стало совсем жутко. Я не могла двинуться с места и продолжала слушать. – И ты все еще веришь в эту чушь? Их давно реабилитировали! Конечно, тебе надо верить. А то что же получится, ты свою жизнь псу под хвост бросил? Мало того что бросил, так еще и клыки кровавые ему утирал.

– Катя...

– А где твоя жалость была, когда ты меня, четырнадцатилетнюю девочку, силком брал? Герой войны, вся грудь в орденах! Защитник, победитель! В каких войсках ты служил, герой? В заградотряде? Своих расстреливал?

– Я нормально служил, в разведке. Никого я не расстреливал. Ни тогда, ни потом. Ты же знаешь, я только с бумагами дело имел.

– Да твои бумаги хуже винтовок! Особенно тот донос, что ты...

– Катя, я ж сколько раз прощения просил за ту глупость!

– Подлость!

– Хорошо, подлость. А что силком, то виноват, знаю. Ну, не сдержался! Одичал на войне, а тут ты... такая. И мы ж поженились!

– Да я бы за тебя не пошла, кабы не отец твой, будь он проклят. Сказал: лучше выходи за сына, иначе и тебя с бабкой закатаю за крутые горки. А мать твоя, добрая душа, до своей смерти меня попрекала, что я невинность не соблюла. Я! Не соблюла!

И тут мама так выругалась, что я аж присела. Но самое страшное ждало меня впереди.

– Катя, ну что толку вспоминать? Не вернуть уже, не исправить. Давно забыть пора. Разве мы плохо жили?

– Забыть пора?! Как я могла забыть, когда ты чуть не каждую ночь мне напоминал? Ты ж видел, знал, не мог не знать, что и любить тебя не люблю, и в постели еле выношу! Сколько раз просила: отпусти, освободи! Нет...

– Зато дети у нас! Вон какие хорошие. И внуки...

– Дети?! – Голос мамы изменился, он зазвучал зловеще и словно сочился ненавистью. – Да дети-то не твои. Я их от другого мужчины родила. Ты не способен оказался, и слава богу, не хватало еще убийц плодить.

– Ты врешь! Не может этого быть! Я же следил за тобой, я... Ах ты су-ука...

– Следил, да не уследил. Христом Богом клянусь, дети не от тебя.

Отец вдруг завыл в голос, зарычал, зарыдал. Я отскочила от двери, но ноги меня не слушались, и я прислонилась к стене. Вышла мама. Увидев мое потрясенное лицо, она кинулась ко мне, обняла и прижала к себе, бормоча:

– Девочка моя, ты слышала?! Прости, прости! Я не хотела, чтобы вы знали, не хотела. Но сил моих больше нет...

И мы заплакали обе.

Спустя два дня отец застрелился. Он как-то сумел слезть с дивана и на коленях пополз до письменного стола, где в одном из ящичков лежал его наградной пистолет. Зарядил и выстрелил себе в рот.

Потом-то мама рассказала мне историю своего замужества и нашего появления на свет. Я еще долго осознавала услышанное: поражалась, что мама оказалась способна на такой порыв страсти; удивлялась, как она решилась броситься на шею практически незнакомому человеку; переживала и ужасалась, представляя, каково ей было сорок пять лет делить постель с нелюбимым мужем. И в то же время я невольно жалела Вилену Кратова, для которого существовала лишь одна женщина в мире – его жена.

## Вилен

*(Рассказывает Екатерина Кратова)*

Родителей своих я совсем не помню – мне было пять лет, когда их арестовали. Зато помню ночной обыск. Один из товарищей меня в кровати заметил и к кобуре потянулся: «Ишь, уставилась!» Пистолет вынул, на меня наставил и крикнул: «Пу!» – а сам смеется. Я заплакала, бабушка меня на руки подхватила, стала успокаивать. Почему нас с бабушкой не тронули, я не знаю.

Квартира странно была устроена: длинный коридор, а вдоль него три комнаты: маленькая, большая и средняя, потом кухня и ванная с крошечным окошком на улицу. Мы были посредине, а соседи по бокам, хотя это одна семья. После ареста родителей мы с бабушкой переселились в маленькую комнату, а нашу заняли соседи. Бабушка объясняла, что на самом деле это лишь часть восьмикомнатной квартиры, некогда принадлежавшей ее семье: бабушкин отец был видным адвокатом, а мать получила богатое приданое. Не знаю, когда именно построили перегородку, разделив жилье, но нам достались кухня, три господские комнаты и конурка прислуги, в которой устроили ванную и туалет. Я-то другой жизни и не знала, но бабушка часто рассказывала мне о своей молодости: революцию 1917 года она встретила тридцатилетней вдовой с семилетней дочерью на руках.

Соседями нашими были Кратовы: Павел Мартынович – Пава, Прасковья Анисимовна – Паня, их дочь Клава и сын Вилен, названный так в честь В. И. Ленина – он родился через три дня после кончины вождя. Кратов был суров с детьми, а Паня обладала скандальным характером, так что Клава сбежала из дому при первой же возможности: поступила в техникум и ушла в общежитие, а перед самой войной вышла замуж и уехала в Орехово-Зуево. Вилену в 1941 году было всего семнадцать, но он все равно ушел на фронт. Паня, обожавшая сына, выла, как по покойнику, пока на нее не наорал Пава. Я тогда тоже расстроилась, потому что Вилен всегда хорошо ко мне относился, угощал конфетами и даже играл со мной в догонялки в длинном коридоре, когда его родителей не было дома.

Бабушка, работавшая в яслях (из школы ей пришлось уйти после ареста моих родителей), категорически отказалась эвакуироваться: боялась, что возвращаться будет некуда. Так что всю войну мы провели на Полянке. Было страшно, холодно и голодно, но я вспоминаю эти годы со светлым чувством, потому что мы с бабушкой остались в квартире одни: Кратовы в страшной спешке уехали в середине октября 1941 года, когда немцы подступили к самой Москве. Вернулись они только летом 1944-го, а в марте 1946 года объявился Вилен – живой и здоровый.

Я смотрела на него с восторгом: герой войны, красавец! Но восхищалась совершенно бескорыстно, как каким-нибудь киноактером вроде Сергея Столярова, на которого, кстати говоря, Вилен был и похож. Мне только исполнилось четырнадцать, настроена я была весьма романтически, мальчикам нравилась, но держалась строго и вообще была созданием целомудренным и невинным, что не мешало мне слегка кокетничать с одноклассником Аликом Сидориным. Представления о любви были у меня наивными до крайности, и дальше поцелуев фантазия не простиралась. Тем страшнее оказалась реальность.

Было начало апреля. Я пришла из школы и решила поменять перегоревшую в люстре лампочку, не дожидаясь прихода бабушки. Потолки высокие, а стремянка тяжелая, поэтому я подвинула круглый стол к центру, поставила на него стул и полезла. Лампочку меняла и хотела было уже слезать, как вдруг кто-то постучал в дверь, а потом вошел. Это был Вилен. Не знаю, чего он хотел изначально, но увидев меня, стоящую на верхотуре, изменился в лице. Я успела переодеться в халатик, который был мне коротковат, да к тому же все время расстегивался, так что, наверно, ему были видны мои ноги вплоть до трусов. Но тогда я этого не поняла.



- Что ты такое делаешь? – спросил Вилен, подходя ближе.
- Лампочку поменяла!
- Попросила бы меня. Давай прыгай. Я поймаю.

Я и прыгнула, дура. Вилен поймал меня, посадил на стол, стиснул и поцеловал. Я была так ошарашена, что даже не протестовала. В следующую секунду стул был отброшен в сторону, я лежала на столе, а руки Вилена шарили по моему телу. Я не отбивалась, потому что была в каком-то ступоре и не понимала, что происходит, только отворачивала голову, чтобы он не лез своим языком мне в рот. А потом мне стало больно, и я закричала. Вилен зажал мне рот рукой, я его укусила, но не остановила. Наконец все закончилось, но он не сразу слез с меня – лежал, тяжело дыша, а я смотрела в потолок, придавленная тяжестью его тела. Ни единой мысли не было в моей бедной голове. И тут раздался густой бас Кратова-старшего:

- Ты что натворил, поганец? Зачем девку испортил? Теперь хлопот не оберешься.

Вилен встал, я услышала звук пощечины, и все затихло – они вышли. Я перебралась на диван и скорчилась там, уткнувшись в подушку, а в квартире еще долго бушевал скандал, к которому присоединилась и пришедшая с рынка Паня. Голоса то приближались, то удалялись, но я не слушала. Потом вернулась бабушка, и скандал вспыхнул с новой силой. Не знаю, до чего они доорались, но Вилен в тот же день куда-то уехал – подозреваю, что к сестре.

Я неделю пролежала на диване, почти не ела, даже в туалет не выходила – бабушка оставляла мне ведро. Дверь я закрывала на ключ. Потом немножко отошла. Скоро стало ясно, что я не забеременела, чего все боялись. Кое-как доучилась до конца учебного года. Я ходила, опустив голову, и чувствовала себя грязной и опозоренной, тем более что Паня не уставала мне об этом напоминать, всячески обзывая. Если это слышала бабушка, она кидалась меня защищать, а потом сваливалась с сердечным приступом, так что я старалась не жаловаться. Да и переговорить Паню было невозможно: на одно твое слово у нее находился десяток ответных, да еще и матерных.

– Вырастили шалаву подзаборную, – говорила Паня, помешивая суп. – Ишь, горюха подол задирает!

– Я не задираю. Это ваш Вилен, – тихо бормотала я, норовя побыстрее проскочить к себе с горячим чайником.

– Виле-ен! Как же! Сучка не захочет – кобель не вскочит! А ты слушай, когда тебе говорят. Что, правда глаза колет?

Пава помалкивал, лишь криво усмехался, но меня не оставляла мысль, что он, стоя в дверях, видел мое унижение, но не остановил сына: дал ему кончить и только тогда рывкнул. Никуда мы с бабушкой не ходили – ни к врачу, ни в милицию: я категорически отказалась, сказав, что не переживу такого стыда. Уехать нам было некуда, я это понимала: родственников не осталось, здоровье у бабушки плохое – куда ехать, где жить, на что? Бабушка пыталась как-то меня утешать. Ради нее я старалась сохранять внешнее спокойствие и плакала только в ванной. Но когда оставалась в квартире одна, что случалось не часто, я рыдала в голос, кричала криком, рвала зубами полотенце – на диване, накрывшись двумя подушками, потому что один раз мне застучали в стену. Шла неделя за неделей, месяц за месяцем, и мне стало казаться, что я справлюсь, выживу, что я не настолько сломана. А потом...

Была середина лета, я сидела на широком подоконнике и читала. Подняла глаза и увидела, что в дверях стоит Вилен. Я вскочила и ухватила руками за раму открытого окна, закричав:

- Не подходи, спрыгну!

Вилен не стал подходить. Вместо этого он вдруг рухнул на колени и пополз ко мне, протягивая руки:

- Катя, Катенька, прости меня, жить без тебя не могу, люблю тебя, Катенька, прости...

Я окаменела. Никак такого не ожидала. Он дополз до окна – я смотрела на него сверху и видела слезы в глазах. В голове у меня что-то противно звенело, я вся дрожала. Сделала шаг назад, но Вилен успел подхватить меня – стащил с подоконника и уложил на пол. И все повторилось. И снова я не сопротивлялась. Мне казалось, это не со мной происходит. Не может быть, чтобы со мной. Я словно перестала существовать, растворилась в небытии, в тоскливом оцепенении обреченности. Вилен долго не отпускал меня, целовал, бормотал что-то о любви...

Когда пришла бабушка, я сидела на диване в полной прострации. Посмотрела на нее рассеянным взором и сказала:

– Вернулся Вилен.

Бабушка ахнула, взглядела в меня, схватила за плечи, встряхнула:

– Катя, он что? Снова?

Я бессильно пожала плечами. Она села рядом и закрыла лицо руками. Не знаю, сколько мы так просидели. Кто-то кашлянул в дверях – это снова был Вилен. Бабушка встала и выпрямилась, надменно подняв голову. Я невольно улыбнулась: бабушка сразу превратилась в серовский портрет Ермоловой, на которую вообще-то была сильно похожа, а сейчас еще и одета во все черное. Репродукция, вырезанная из журнала «Огонек», висела у нас на стене.

– Тетя Аня, – начал Вилен, но бабушка его прервала:

– Для тебя – Анна Иннокентьевна.

– Анна Инно... Иннокентьевна, я хочу жениться на вашей внучке.

– Жениться?! Да она девочка! Школьница!

– Когда школу окончит.

– Как ты мог, Вилен? Как ты мог так с нами поступить? Ты забыл, как мы тебя жалели, как утешали, когда отец ремнем в кровь избивал? Прятали тебя... С уроками помогали... Я думала, ты другой, а ты ничем не лучше отца!

Бабушка не выдержала и заплакала.

– Я виноват, виноват! – закричал Вилен. – Но я люблю Катю!

– Да что ты знаешь о любви, – усталым голосом произнесла бабушка и опустилась на диван. – Катя, подай мне капли.

Я принесла бабушкино лекарство, она выпила. Вилен так и стоял столбом посреди комнаты, беспомощно на нас глядя. Я не понимала, как он мог раньше казаться мне красивым и добрым – вспомнив сцену на полу, я вздрогнула. В этот раз было еще больнее, чем в первый, потому что он озабочился презервативом, но это я после поняла. Я посмотрела Вилену в глаза – его аж пошатнуло от моей ненависти – и сказала:

– Я. Никогда. Не выйду. За тебя. Замуж.

– И что же мне делать?

– Понятия не имею.

Вилен ушел. Через некоторое время заглянул Пава:

– Анна Иннокентьевна, позвольте вас на пару слов.

Бабушка ушла. Вернулась она мрачнее тучи и белая как бумага. Накапала себе еще капель и сказала мне сдавленным голосом:

– Пойди, деточка, поговори с Павлом Мартыновичем.

– Зачем?

– Пожалуйста.

Я пошла. Пава оглядел меня внимательно и покачал головой:

– И что он в тебе нашел? Чем зацепила? Черная, как галка. Ни тебе сисек, ни задницы, тьфу! Какая из тебя жена?

– Я не выйду замуж за вашего сына.

– А куда ты денешься? Выйдешь как миленькая.

– Я пойду в комсомольскую организацию и расскажу, что ваш сын со мной сделал.

– Ишь ты, смелая! Да кто тебе поверит? Позору не оберешься, и все. Не хочешь замуж? Значит, так будешь с ним жить, без замужа. И никто тебя не защитит, потому что бабка вслед за родителями твоими отправится, поняла? Поняла, спрашиваю?

– Но я не хочу! – закричала я. – Я терпеть его не могу!

– Ничего, стерпится – слюбится. Окончишь школу, и распишетесь. И не рыпайся никуда! Ты знаешь, где я работаю? Из-под земли достану и в ту же землю зарою.

Я вернулась к себе, и остаток вечера мы с бабушкой молча просидели за столом напротив друг друга. Долго не могли заснуть, вздыхая каждая на своем диванчике. Потом я услышала, что бабушка плачет, и легла к ней под бочок.

– Прости меня, деточка, прости! Не уберегла я тебя! Надо было нам в эвакуацию ехать да там и остаться...

– Бабушка, не надо! Может, Вилен меня разлюбит и раздумает жениться...

Но мои наивные надежды рухнули буквально через неделю. Вечером Вилен подкараулил меня и схватил за руку, увлекая в свою комнату:

– Иди сюда.

– Пусти, закричу!

– Кричи, никто не придет. Только доведешь бабку до нового приступа, и все. Пойдем по-хорошему. У меня и резинки есть, чтоб без последствий. Подготовился. Ну, давай! Теперь-то ты чего ломаешься?

– Я не хочу! Мне больно!

– А я остороженько.

– Ты сказал – после школы!

– Поженимся, да. Я ж слово дал. А сейчас чего зря время терять?

Так оно и продолжалось все эти два года. Бог мой, как мне было стыдно! Каждый день, каждый час! В школе я старалась никому не смотреть в лицо: вдруг они по моим глазам поймут, какая я? Увидят все, что Вилен делал со мной ночью... Я начала думать, что и правда испорченная, раз со мной такое произошло. Наверно, сама виновата: улыбалась Вилену, смеялась его шуткам, смотрела восторженными глазами...

Потом мы поженились. Не знаю, как Кратовы это устроили – мне было всего шестнадцать. Жизнь моя кончилась. Моя собственная, отдельная, самостоятельная жизнь. Учиться они не позволили. Пава пристроил меня на Лубянку – секретаршей к небольшому начальнику. Сидела на телефоне, перебирала бумажки, научилась печатать и стенографировать. Вилен работал там же, но в другом отделе, поэтому на работу и с работы я ездила с ним. Под конвоем, как горестно я думала. Единственной моей радостью и утешением была бабушка.

Надо отдать ему должное, Вилен меня действительно любил. Но я от его любви задыхалась: это была липкая, обволакивающая страсть, патологическая зависимость, превращавшая меня в его обожаемую игрушку, драгоценную вещь, наркотик. Он по-своему берег меня, старался защищать от свекрови, которая никак не могла пережить, что ее сын женился на порченной девке – не важно, что он сам ее и «испортил».

Так прошло четыре года, и Кратовы стали поговаривать о ребенке, но забеременеть у меня не получалось, хотя вроде бы по женской части все было в порядке. Я подозревала, что дело в Вилене, но эти свои мысли не озвучивала. Я и сама не знала, хочу ли ребенка. Наверно, хотела. Но не от Кратовых. Мне казалось, мое тело отвергает кратовское семя, не дает ему прижиться. Может, так оно и было, кто знает.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.